

ВАЛЕНТИН  
ПИКУЛЬ



БАЯЗЕТ



Валентин Пикуль

**Баязет. Том 2.**

**Исторические миниатюры**

«ВЕЧЕ»

1961

## **Пикуль В. С.**

Баязет. Том 2. Исторические миниатюры / В. С. Пикуль —  
«ВЕЧЕ», 1961

ISBN 978-5-4444-9077-8

«Баязет» – одно из масштабнейших произведений отечественной исторической прозы. Книга, являющая собой своеобразную «художественную хронику» драматичного и славного эпизода истории Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. – осады крепости Баязет. Книга положена в основу сериала, недавно триумфально прошедшего по телевидению. Однако даже самая лучшая экранизация все-таки не в силах передать талант и глубину оригинала – романа В. Пикуля...

ISBN 978-5-4444-9077-8

© Пикуль В. С., 1961

© ВЕЧЕ, 1961

## Содержание

Часть вторая. Сидение	6
Смятение	6
Кровавый пот	50
Конец ознакомительного фрагмента.	56

# **Валентин Пикуль**

## **Баязет. Том 2. Исторические миниатюры**

© Пикуль В. С., наследники, 2008

© ООО «Издательство «Вече», 2008

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2017

\* \* \*

## Часть вторая. Сидение

### Смятение

*...А по вечерам говорим о тебе. Папа не пьет сейчас, слава богу, а Митенька принес в этот месяц 7 руб. Лика все-таки дала согласие Валерию Петровичу, но свадьбу отложим до твоего возвращения. Все наше семейство так гордится тобой, наш дорогой Вадя, у нас все помыслы лишь о тебе. Береги же себя и пиши нам чаще. По свадьбе Лика уедет от нас, и тогда освободится для тебя угловая комнатка. Вчера была у нас Таноша Цынская, она совсем девушка, вы были бы с нею очень хорошей парой...*

*Из письма матери к прапорщику Латышеву от 8 июня, писанного из Волоколамска на второй день после гибели сына*

#### 1

Уже на исходе ночи усталость все-таки доконала людей, и они попадали в горячечных снах. Похожие на бесформенные, наспех замотанные узлы, тела солдат и казаков заполнили собой мрачные переходы и тамбуры лестниц; ратники Баязета полегли на площадках дворов и на плоских крышах крепостных фасов. Но звезды еще не успели погаснуть в черной мякоти неба, когда по закоулкам Баязета прошли молчаливые санитары; засучив рукава, они грубо и деловито разматывали эти человеческие, ни на что не похожие узлы и, терпеливо снося пинки, выслушивали бессвязный поток бредовых речей. Они отыскивали неубранных мертвецов, и Сивицкий тоже не поленился выбраться на крышу крепости, убежденно повторяя всюду одно и то же:

– Убирайте трупы, иначе – мор! Братцы, скидывай мертвых со стенок, бросай их туркам, иначе мы задохнемся, иначе погибнем!..

Клюгенау провел по лицу ладошкой, встряхнулся. Перед ним медленно поднимался тяжелый занавес ночи. Художник вчерашнего боя обладал чудовищной фантазией. Декорации заднего плана еще томились в вязкой темноте, а перед зрителем уже открывалась незабываемая картина.

– Тю-тю! – сказал Клюгенау и, потянув Карабанова за рукав, показал вниз. – Остатки-то нашего обоза – тю-тю!

Громоздкая и хаотичная свалка войсковых вещей за ночь успела исчезнуть. Только валялись, опутанные сбруей, вздернув копыта, дохлые кони, кое-где белели рубахи стрелков да халаты убитых турок. Ветер шелестел бумагами, заметал песком солдатские сухари и обрывки бинтов, с шуршанием катил под откос пустые расстрелянные гильзы.

– Чисто, – удивился Карабанов. – И удивительно тихо, даже не верится... А вот там я вижу что-то новое в этом чудесном пейзаже!

Клюгенау близоруко сощурился. Занавес ночи раздвинулся шире, и стали видны окрестные отроги, усеянные трупами воинов и лошадей; вдоль Ванской дороги ясно обозначилась свежая насыпь выкопанных за ночь траншей, из которых торчали два бунчука и пестрые значки сердаров. Где-то внизу, за майданом, уже пробуждался захваченный врагом город, и белая цапля по-прежнему мирно сидела на крыше караван-сарая.

– Что ж, – сказал Ключену, протирая очки грязным платком. – Мой дед любил говорить так: «Morgenstunde hat Gold im Munde...»<sup>1</sup>

– А что, вы думаете, будет дальше, барон? – спросил Карабанов и, морщась, поправил мешавшую повязку.

– Дальше? – улыбнулся прапорщик. – Пора бы знать, господин поручик: дальше, как всегда, будет день. Считайте, что ничего не изменилось...

К ним откуда-то подошел Сивицкий – лицо его, небритое, серо-землистого цвета, казалось разбухшим и отечным; голос врача срывался на низкое хрипение.

– Убирайте... – наказал он офицерам. – Убирайте сами и следите, чтобы убирали солдаты. Иначе – мор!

– Хорошо, – серьезно отозвался Ключену, – мы уже запомнили это... Не тревожьтесь, дорогой Александр Борисович!..

День начался с раздачи воды. Работы в гарнизоне прекратились, все направились во второй двор, где возле кадушки с водой стояли двое бессменных часовых. Но если ночью потребность в воде не была так ощутима (а некоторые, из числа солдат поскупее, сумели даже сохранить на доньшках фляг один-два заветных глотка), то теперь, с наступлением нового знойного дня, жажда вдруг накинута на всех, как страшное повальное бедствие.

Старый гренадер Хренов, волоча за собой длинноствольный турецкий самопал<sup>2</sup>, решил подшутить над жаждой.

– Вы, – сказал он, – котята ишо, в дровах найденные. Стоите, дурни, а там вода так и сигает из крантика.

– Правда, дед? – наивно поверил канонир Постный.

– Бабка врала и та померла... Беги, немасленный. Да посуду-то захвати пошире.

У крана действительно стояли солдаты, еще не потерявшие веру в то, что вода не могла исчезнуть надолго, – воду, казалось им, еще можно вызвать, выжать, притянуть, приблизить ласковым словом.

– Ну, теки, теки к нам, миленькая, – говорил старый жалостливый повар. – Ну, сверкни хоша бы капелькой...

– Неужто все? – спросил Кирюха.

– Кажись, кончилась, – ответил суровый Потемкин и размахисто, с верой, перекрестился, как над покойником. – Пососи, малый: может, и вытянешь на глоток!

Канонир, припав губами к ободку крана, пососал ворчащую где-то в отдалении пустоту и, махнув рукой, снова побежал во второй двор...

Кадушка была сравнительно большая и наполнена водой до самого верху. Штоквиц сам распорядился раздачей – так что беспорядка быть не могло, по второму разу подойти никто бы не осмелился. Очередь двигалась медленно, задние нетерпеливо подталкивали передних. Но каково же было удивление, когда солдат, выстояв на жаре свой срок, получал воды лишь столько, сколько вмещалось ее в патронную гильзу.

– Быдто бы мне? – неуверенно спросил Трехжонный. – Да у меня с потом более вышло, пока дожидался.

– Лакай и отходи, философ кобылячий... Кто следующий? Ты? Наклонись над бочкой.

Казак со смехом встретили Трехжонного:

– Ну, каково, вахмистр? Отвел душу?

– Да потерялся пузом у бочки, – сконфузился тот.

---

<sup>1</sup> Буквально: «Утренние часы имеют золото во рту»; здесь же в том смысле, что утро – хороший советчик.

<sup>2</sup> Среди осаждавших Баязет турецких войск, как ни странно, встречались даже самые допотопные виды стрелкового оружия, в том числе и митральезы.

Когда же раздача воды была закончена, в кадучке воды осталось еще наполовину, и Штоквиц довольно заметил:

– Очень хорошо. Вечером еще разочек напьются.

Подскочил откуда-то сбоку денщик Исмаил-хана, весьма самоуверенный парень, и сунулся в кадучку полным стаканом. Стакан так и остался лежать на дне, а денщик полетел в угол от крепкого кулака коменданта. Штоквиц обладал способностью быстро звереть: он долго пинал солдата тяжелыми подкованными сапогами, потом, усталый, сказал:

– Передай своему хану, что офицеры баязетского гарнизона с сего дня приравнены в довольствии к нижним чинам. Если его сиятельство придет, то я и ему налью в гильзу, но не больше...

Ефрем Иванович засучил рукав мундира, долго шарил волосатой рукой по дну кадучки и вытащил утонувший стакан, доверху наполненный водой.

– Эй, Ожогин! – позвал он казака. – Вот этот стакан – держи да не разлей – отнесешь госпоже Хвошинской. Понял, байстрюк, кому нести надобно?

– Понял, – кивнул Дениска и торопливо, будто с опаской, облизнул губы.

«Вода!..»

.....

Пацевич пробудился в паршивом настроении. Всю ночь ему снилась какая-то белиберда: сначала вляпался в дерьмо (это хорошо – к наживе), а потом купался, глубоко ныряя, в грязной мути (это уже плохо – к беде).

– Господи, сохрани меня и помилуй, – испуганно сказал Адам Платонович и потряс графином; на дне было пусто.

Взяв сапог, полковник запустил им в дверь, и денщик, приученный отзываться сразу же, появился перед ним.

– Что? – спросил Пацевич. – И чихиря даже нету?

– Никак нет. Вчера последний допить изволили.

– Дурак! А чего сегодня-то пить будем? Говорил я тебе, балбесу, чтобы загодя сходил на майдан.

– Говорили, да страшно было, – честно признался денщик. – Эвон, – вспомнил он, – троих-то наших как!

– «Страшно»... На то и солдат ты, чтобы смерти не бояться. А мне вот из-за твоих страхов теперь и похмелиться нечем. Пошел вон, харя!..

Когда приблизился полдень, солдаты грызли черствые сухари. Обед в этот день уже не готовили, и Штоквиц послал кашеваров для помощи санитарам в госпиталь. Турки же проснулись сегодня очень поздно, хотя муэдзины уже два раза сзывали правоверных к молитве. Над городом повисли дымки печей, привычно загалдел майдан, со стороны караван-сарая доносились звуки флейт и барабанов: курды уже заплясали вокруг костров свое дикое «чопи».

Стрельбы не было. Поначалу казаки и пробовали на выбор бить по редифам, подбегавшим к самым стенам крепости, но Ватнин потом отсоветовал.

– А бросьте вы их, ребята, – сказал есаул. – И так уши заложили за эти дни! Ну их к бесу, патроны только тратить... Ихнего брата столько наперло – из пушки не перебьешь...

Историкам неизвестно, чем пообедал Пацевич, но во втором часу дня он созвал к себе офицеров, и настроение у него было скверное. В помещении, которое занимал полковник, стоял закоснелый запах холостяцкой квартиры: аромат немытой посуды не мог победить кислого запаха нечистой одежды. Лицо у Пацевича было усталым, под глазами висли старческие мешки, склеротические вены на лбу надувались синей кровью, концы пальцев зябко дрожали.

«Алкоголизм плюс функциональное расстройство нервов», – машинально поставил диагноз Сивицкий и с трудом отыскал место, где бы можно было присесть.

Полковник принимал офицеров в помещении, которое он выбрал для своих занятий подальше от заднего – артиллерийского – двора. По стенам были намалеваны яркие безвкусные пейзажи, – среди цветного порфира арабесок эти грубые картины походили своей аляповатостью на украшения русских трактиров в глухой провинции.

– Господа, – начал Адам Платонович миролюбиво, – нам следует набраться мужества, чтобы до конца уяснить для себя всю тягостность нашего положения. Если я и могу бросить в кого-нибудь из нас камень, то этот первый камень полетит в мою сторону... К сожалению, я пошел на поводу заносчивой молодежи, и результаты нашей рекогносцировки вам всем хорошо известны. Теперь же, что я предлагаю (и надеюсь, – добавил он, – вы согласитесь со мной), надо поднять боевой дух гарнизона.

Он помолчал. Заметив дрожание рук, свел их вместе.

Потом, поманив пальцем Евдокимова, сказал:

– Вы, юноша, позавчера говорили дельно. О воде и о том, что бассейн надо было держать заранее наполненным. Но разве же кто из нас думал, что все так случится?

Клюгенау, осматривая купол потолка, пожал плечами.

– Что вы там жметесь, барон, как барышня? – недовольно заметил полковник. – Если вам не нравится моя искренность, то я вас не держу: можете идти.

Произошло неожиданное: Клюгенау четко повернулся, каблуком правой ноги лихо пристукнул о каблук левой и, отдав честь офицерам, удалился из комнаты.

– Ох уж эти мне поэты! – сокрушенно вздохнул Адам Платонович. – Как ему только не стыдно обижать меня, старика... Так вот, господа, – продолжил Пацевич после недолгого молчания, – на чем же я остановился?... Ах да! Вспомнил: нам надобно поднять боевой дух гарнизона. Для этого я предлагаю (и мне кажется, что сие удостоится вашего согласия) повесить сегодня в крепости всех пленных. Штоквиц уже вешал людей и не откажется повесить еще раз!

Последнее было сказано в самом добродушном тоне: мол, выручите, голубчик! Ефрем Иванович медленно побагровел. Даже брови у него наполнились кровью, глаза сделались тяжелыми и заползали, не подымаясь выше пояса офицеров.

– На этот раз, господин полковник, – с натугой произнес он, – я охотно передоверяю эту честь вам.

– Но вы – комендант! – сказал Пацевич.

– Да. Но не палач, – отрубил Штоквиц.

– Позвольте! – вдруг заговорил Потресов, решительно шагнув вперед. – Кто сказал вам, что боевой дух баязетского гарнизона упал? Вы посмотрите на солдат: они еще никогда не были так воодушевлены, как вчера и сегодня. Устали – это верно, но их боевому духу можно позавидовать!

– Вы, майор, ничего не знаете, кроме своих пушек, – сразу обозлился Пацевич, встречая сопротивление от этого покорного человека, на котором, как ему всегда казалось, можно воду возить.

– Что ж, – слегка поклонился старый офицер, – тогда простите великодушно. Если уж я... я, майор Потресов, сорок лет отслуживший в русской армии, не знаю русского солдата, то кому же еще знать его!

– А потом, – мрачно, без тени улыбки, добавил Карабанов, – если уж говорить о духе, то мой дух не поднимется из-за того, что, проходя по двору, я буду задевать головой ноги висельников!

– А дух будет, – пообещал Ватнин. – Солнышко-то сейчас жаркое, мух да заразы много... Ох и крепкий же дух будет!

Сивицкий встал и не спеша направился к выходу.

– А вы куда, капитан? – спросил Пацевич.

– Пойду к солдатам, – ответил доктор. – Они, как это ни странно, умнее нас, офицеров. Стыдно, но что поделаешь?..

– Нельзя вешать пленных! – вдруг сорвался в крике капитан Штоквиц. – Все мы знаем, что есаул Ватнин за свою жизнь добрую сотню людей на тот свет отправил, но в бою открытом. В бою благородном и честном! Спросите его – тронул ли он пленного?

– Нет, – качнул головой Ватнин. – Такого со мной не бывало. Я все больше по благородству...

– И я, как старший врач гарнизона, – присовокупил Сивицкий с порога, – заявляю свой протест против подобных мер. Повешение пленных лишь деморализует солдатскую массу. Если же вам, Адам Платонович, хочется повесить кого-либо, то повесьте их вот здесь у себя. Вместо люстры!

Пацевич уже понял, очевидно, что ляпнул сгоряча что-то не совсем подходящее, но не знал, как выкрутиться из этой неловкости.

– Капитан Сивицкий, перестаньте грубить мне, иначе я прикажу арестовать вас.

– Эх, полковник! Арестованных-то сажают в крепость. И если это так, то я уже давно арестован. И со мною вместе сидят еще сотни людей, которые никак не могут уразуметь, за какие грехи тяжкие им достался такой... надзиратель.

– Вы мне поплатитесь за эти слова, доктор. Вот только дайте мне выбраться отсюда!

– А вы, полковник, сначала выберите...

Когда офицеры ушли, Пацевич долго сидел молча, потом стукнул кулаками об стол, решительно встал:

– К черту офицеров! Тоже мне, баре... Пойду к солдатикам!

Он шел по дворам цитадели, и встречные солдаты вставали перед ним навтытяжку. Заметив одного вояку, который, опираясь на винтовку, ковылял в сторону госпиталя, Пацевич дружелюбно окликнул его:

– Куда ранен, служба?

– Да куда? Ясное дело – в ногу, ваше высокоблагородие.

– Когда же это?

– Да эвот сейчас и вдарило... Стою это я, за непорядками наблюдаю. Вдруг, откель ни возьмитесь, р-раз – и готово: пуля!

– Пуля?

– Ага... Добро бы хорошая была, а то ведь самоделок турецкий: вроде гвоздя, быдто на крючок попался!

– Ай-я-яй, – пособолезновал полковник. – Что же это ты так? Не повезло тебе, братец.

– Всем не повезло, ваше высокоблагородие, – не то сдуру, не то с умыслом ответил солдат и поковылял дальше.

Пацевич вернулся к себе, тяжело рухнул на продавленную постель.

– Не любят меня, – судорожно всхлипнув, сказал он в пустоту. – Не любят... никто не любит. А за что? Что я им плохого сделал?

И он громко, истерично расплакался.

## 2

Шепча ругательства, Штоквиц долго разбирал брнчащую связку ключей от шахского гарема, нанизанных на громадное кольцо. По ободу кольца были вчekanены изречения из Корана о низости и неверности женщин, которых необходимо поэтому держать под замком. Теперь в бывшем гареме Исхак-паши были заперты пленные, и Штоквиц, распахнув тяжелые двери, над которыми было написано: «Бу дженнет» (это – рай), прокричал в заплесневелую темноту:

– Эй, правоверные, выходи – работа есть!

Он вручил туркам и курдам старые гнутые лопаты, вывел пленных на середину двора, топнул ногой в твердую, растрескавшуюся от жары землю.

– Вот здесь и копайте, – велел он.

Пленные вдруг разом упали перед ним на колени, прося о пощаде. Хватая Штоквица за толстые ляжки, они волочились за ним по земле, цепляясь за полы кургузого сюртука. Комендант едва успевал отбиваться от них.

– Йох, йох, алай-бей! Аман верин, аман... сердар, барыш! – вопил о пощаде один высокий старец. – Сердар, барыш!

Клюгенау, появившись во дворе, вдруг резко выкрикнул что-то по-турецки, и пленные сразу присмирели, дружно разобрали свои лопаты.

– Так нельзя, господин комендант, – пояснил барон. – Ведь эти бедняги подумали, что вы заставляете их копать могилу. А вы, очевидно, решили рыть колодец. Так я вас понял?

– Ну конечно, барон. Надо ведь что-то придумывать с водой.

Пленные согласно вонзили лопаты в землю. Яму глубиной до колена они вырыли удивительно быстро, о чем-то возбужденно лопоча между собой.

– А все-таки, Ефрем Иванович, это напрасно, – заметил Клюгенау. – Цитадель стоит на самой вершине скалы – воды все равно не будет.

Штоквиц в задумчивости опустил на колени, надолго приник лицом к расщелинам запыленной решетки, всматривался в глубину подземелья. В полумраке шахских усыпальниц он увидел склоненные знамена, слабо мерцавшие штыки караула и согнутую женскую фигурку, припавшую к земле.

– Она... все еще там? – осторожно спросил Клюгенау.

– Да, – ответил Штоквиц, поднимаясь. – И не уходит со вчерашнего дня. Если бы в гарнизоне не было женщин – все, кажется, было бы проще.

– Хоронить надо, – заметил прапорщик. – Пора...

– Надо, – согласился Штоквиц, отряхивая колени. – Но она не дает хоронить его. Пусть лежит. Мертвые никогда и никому не мешают...

Лопаты в руках пленных с надсадным скрежетом ударились о твердый гранит. Дальше начиналась плотная подушка скалы, и комендант убедился, что рыть колодец – затея бесполезная.

– Участкин, – приказал он ефрейтору, – собери все лопаты и загони этих дармоедов обратно.

Солнце начинало палить. Клюгенау присел на камень, стянул с ноги сапог, стал осматривать рваную подошву. Вытирая обильный пот, бегущий с облысевшего черепа, к нему подсел комендант. Постучал себя по карманам, отыскивая папиросницу.

– Барон, – спросил капитан, закуривая. – Скажите мне – это правда, что вы барон?

Клюгенау ковырнул пальцем дырку на подошве.

– Можете свериться в богемских матрикулах, – ответил он, перематывая рыжую от пота портянку. – В окрестностях Иозефштадта еще лежат развалины нашего родового замка Клюки дер Клюгенау. А моего пращура, пришедшего в Россию еще при Елизавете, как видно, тревожила неслыханная карьера недоучки Остермана, ставшего российским канцлером. Любопытный немец, как говорил министр финансов Канкрин, всегда похож на капусту: чтобы из него получился толк, его надо пересадить на новую почву. Может, вы уже и заметили, что я неплохо здесь привился, хотя и не процветаю.

Клюгенау со стоном натянул сапог, спросил:

– А почему это вас так заинтересовало?

Штоквиц честно признался:

– Извините, но я недолюбливаю вас, барон.

– Я тоже не испытываю к вам нежности, – охотно откликнулся прапорщик. – Однако сейчас нам ни к чему выяснять силу страсти одного к другому. Мы потеряли вчера сразу двух людей, на которых держался весь гарнизон. Нам, конечно, уже не вернуть золотой головы Некрасова, но...

– Я вас понял, барон, – ответил Штоквиц, кладя руку на измятый погон инженера. – Бог обидел нас начальством, и отныне все зависит от нашей взаимности.

– Есть еще... Ватнин! – неожиданно сказал Клюгенау.

– Вы думаете, что именно он?

– Но, – намекнул прапорщик, – не вы же!

– Да, не я. – И, прикусив губу, Штоквиц тяжело задумался.

Клюгенау вдруг залиvisto рассмеялся.

– О чем вы? – удивился комендант.

– Мы совсем забыли о нашем достопочтенном подполковнике Исмаил-хане, а ведь его звание... Если случится что-либо с Пацевичем... Я, конечно, не желаю ему плохого, но вы же сами понимаете, что тогда будет!

– Ну, вот ему! – злобно сказал Штоквиц и сделал кукиш. – Уж тогда действительно пусть лучше сотник.

На этом они и расстались. Что-то осталось недоговоренным, но Клюгенау отметил про себя затаенную тревогу Штоквица: капитан неспроста завел этот разговор. Его шкура, как следует продубленная в страховании карьеры, уже, видать, почуяла что-то неладное. «Во всяком случае, – спокойно рассудил Клюгенау, – Штоквиц не рискнет взять на себя командование гарнизоном и наверняка пожелает остаться лишь комендантом...»

Тем временем Пацевич как бы ненароком заглянул в обещанную саджатами клетушку Исмаил-хана, который в этот момент брил волосатые ноги.

– Пардон, хан, что застал вас во время туалета, – извинился Пацевич, кладя на стол выгоревшую на солнце фуражку. – Про вас говорят, – подлизнулся он, – что вы желаете быть причисленным к свите его величества?

– В конвой его величества, – поправил хан.

– Ну, это все равно. Я могу посодействовать!

Пацевич оглядел пыльную бахрому саджатов, валявшихся на полу, и, внезапно побледнев и заострившись лицом, спросил отрывистым шепотом:

– Ангелика... есть?

– Нету! – отрезал Исмаил-хан, и Адам Платонович, словно в ужасе, даже отшатнулся к стене. – Ангелики нету, а чихирь есть, – бодро закончил хан, и лицо Пацевича снова приобрело живую окраску.

– Ух, батенька! – сказал он, потирая ладонью жирную шею. – Разве ж можно так пугать человека?

Первый стакан он выхлебал большими глотками. Темный, как деготь, чихирь двумя струйками бежал из углов его рта по мясистому подбородку.

– Эх, хорошо! – крикнул он, и бестрепетная рука Исмаил-хана снова наполнила стакан. – Очень даже хорошо, – повторил Пацевич, – просто гениальный был человек, кто чихирь этот выдумал!

Взять с собою бутылку вина Пацевич, однако, отказался.

– Лучше уж я забегу вечерком да еще выпью. А то, не дай бог, солдатики подумают, что я водичку ташу... И без того благодарю вас, сиятельный хан. И не сомневайтесь: при ваших достоинствах вы несомненно будете в свите его величества.

– В конвое, – снова поправил его Исмаил-хан.

– Ну, это безразлично. – Адам Платонович вышел во двор, где встретил Евдокимова. – Эх, юноша! Вы случайно не видели Хаджи-Джамал-бека?

– Нет, господин полковник, сегодня не видел. Очевидно, он уже выбрался из крепости в город.

Шалая пуля, секанув по стене здания, вдребезги разнесла разноцветный узор стекол над самой головой Пацевича, и полковник обеспокоенно сказал:

– У, черт! Никак в меня с майдана прицелились?

Тут внимание Пацевича привлек появившийся во дворе священник. Отец Герасим рясу еще вчера скинул – натянул взамен рубаху солдатскую. Сапоги для легкости тоже снял – босиком-то он прытким был. В таком-то вот виде, придерживая на груди распятие, он и попался на глаза Адаму Платоновичу.

– А-а, божий человек, – словно обрадовался Пацевич, – ты что же это, духом святым вчера от батальона отстал?

Отец Герасим остановился, по-мужицки умное лицо его, корявое и широкое, было исполнено какого-то внутреннего достоинства и даже гордости.

– Не духом святым, господин полковник, – спокойно ответил он. – А уж если правду сказать, так ногами спасался. И с собою еще человек пяток из гибели вывел. А за батальон я не в ответе.

– Ну, ладно, ладно. Иди, святоша.

– А вот и не пойду! – вдруг заартачился отец Герасим. – Вот сяду здесь и буду сидеть. Пушай турки по мне патроны свои переводят.

– Ты глуп, батька, – обозлился Пацевич.

– Да уж чья бы корова мычала, а твоя бы лучше молчала!

Майор Потресов, издали наблюдавший за этой сценой, вот-вот грозившей обернуться в брань или, того лучше, в кулачную потасовку, подошел к священнику и, толкая его в спину, заставил уйти со двора:

– Идите, отец Герасим, с миром. Нехорошо эдак-то получается! Тут и без ваших скандалов тошно... Идите своей дорогой!

Священник послушался артиллериста и, не возражая больше, спустился в подземелье усыпальницы.

– Мается? – шепотком спросил он у часовых.

Те кивнули в ответ:

– Молчит баба. Быдто закаменела...

В подземелье Баязета, раскинутая на каменных плитах, виселась палатка полковой канцелярии, изнутри которой сочился слабый рассеянный свет, и возле нее застыли в карауле солдаты-хоперцы. Отец Герасим, неслышно ступая босыми пятками по влажному полу, подошел ближе, заглянул:

– Успокоился, сердешный...

Хвоцинский лежал на солдатской шинели, под затылок ему был подсунут туго набитый ранец. В жилистых руках мертвеца, оплывая воском на бледные пальцы, теплилась тоненькая свечечка. Хвоцинская сидела перед телом покойного, стянув на своей груди сжатые в руках концы старенькой шали.

Она не плакала.

– А ты и пореви, – посоветовал отец Герасим. – Дело-то ведь житейское...

Решительно взяв женщину за плечи, священник поднял Аглаю, сказал добродушно:

– Да ступай-ка ты отседова. Не век же сидеть...

Добрый мужик провел ее в киоск, где на столе стоял стакан с водой, принесенный Дениской Ожогиным.

– На-ка вот, попей лучше...

Аглая жадно выпила воду, подошла к тахте и ничком зарылась лицом в подушки.

– Что мне? – сказала она. – Зачем мне теперь?..

Плечи у нее вдруг дрогнули.

– Ну, вот, – сказал отец Герасим успокоенно, – ты, девонька, поплачь. Это не беда, слеза боль-то оттянет...

Посидев немного и повздыхав, священник вскоре ушел. Аглая кликнула денщика.

– Принеси умыться, – велела она.

Солдат посмотрел на нее сумасшедшими глазами.

– А-а-а, теперь понимаю, – догадалась Хвощинская. – Ну что ж. Тогда позови ко мне барона Ключену. Или – нет, нет, постой; позови поручика Карабанова. Скажи, что прошу его зайти.

Андрей скоро пришел, серый от пыли, постаревший за эти дни. Глаза его слезились от усталости.

– Вот, – сказал он и протянул письмо.

Аглая положила конверт на стол нетронутым.

– Ты, конечно, прочел его?

– Нет.

– А если правду?

– Да...

– Тогда иди, – разрешила она.

Карабанов остался.

– Я не умею утешать. Однако...

– Он был лучше тебя, – вздохнула Аглая.

– Не забывай, что он был лучше и тебя тоже.

– Об этом можно только помнить...

Андрей в смущении потерял темляк шашки:

– Скажи: за что ты меня сейчас ненавидишь?

– За убийство. Разве ты не догадываешься?

– За убийство... кого?

– Моего мужа. Полковника Хвощинского.

– Я не убивал его.

– Ты убил не только его. Я далека сейчас от наивностей.

– Что это значит?

– Вчерашний день, эта дурацкая рекогносцировка, – ее не было бы, если бы только ты отбросил свою гордость. Но – не-ет, где же тебе!

Карабанов повернулся к дверям:

– Мне, пожалуй, действительно лучше уйти...

Хвощинский писал жене:

... Я получал тогда 20 рублей жалованья, и половину его отдавал солдатам, как и положено русскому офицеру, если вопросы чести для него дороже своей особы. Прости, Аглаюшка, что я здесь говорю о своей первой жене, но сейчас, накануне боя, мне все позволено. Мы кочевали с гарнизоном по нищим еврейским местечкам в Подолии и на Волыни. В грязных избах она рожала мне детей, и они, бедняжки, умирали, как цыганята на телегах, не в силах выжить. Я любил свою первую жену, хотя, как мне кажется, тебя люблю незаслуженно больше.

Мне всегда было утешительно думать, что я могу дать тебе если не первую страсть, то все то, чего не мог дать своей первой жене. Я надеялся после этой войны выйти в отставку, получив генеральский мундир с пенсионом, мы – казалось мне – купим где-нибудь хуторок, заживем тихо и благополучно. Но он, этот господин, о котором ты сама призналась мне накануне нашей свадьбы, он снова появился в твоей судьбе. Я знаю, ты его любишь снова, я благодарен тебе хотя бы за то, что вы оба обезопасили меня от сплетен на мою седую голову. Я ничего не могу

сказать тебе дурного об этом господине, все счастье которого лишь в том, что он моложе меня, но я умоляю тебя об одном: если меня не станет, ради всех святых, не становись его женою...

– Этого уже не случится! – И госпожа Хвощинская сложила письмо по тем же складкам, по каким оно было сложено им, еще живым и любящим, в тот страшный день рекогносцировки.

### 3

Очевидно, турки решили переждать полуденную жару. Но вот уже ветер «святого Георгия Просветителя» (ветер капризный, но благодатный) спустился откуда-то с горных вершин, и над Араратской долиной повеяло едва ощутимой прохладой.

Старик Хренов снял с лысины мятую фуражку, приставил ко лбу корявые пальцы, чтобы перекреститься:

– Слава-те, хоспо...

Но воздух вздрогнул от скрипучего рева – затрубили воины в буйволы рога, с минаретов завопили фанатичные шейхи, и старый гренадер едва успел добежать до укрытия, – на цитадель Баязета обрушился огненный смерч.

– Господин полковник, – доложил Штоквиц, – турки ведут огонь со всех сторон... Даже старухи бьют из армянского города!

Пацевич запустил руку под отворот мундира, долго не мог нащупать биение сердца.

– Ну а что я могу сделать? – спросил он хрипло. – Скажите солдатам, чтобы не подставляли лбов под пули. Это единственное, что я могу им посоветовать.

Штоквиц, пожав плечами, ушел. Полковник вынул из кобуры громадный «бульдог» – «семейный», как он называл его в минуты добродушия, и пальцем повернул тяжелый барабан, считая головки патронов. Их было тринадцать, и от этого скверного числа ему стало не по себе.

Штоквиц приготовил плевков еще при полковнике, но там выплюнуть его не решился и плюнул только во дворе.

– Тьфу! – сказал он. – Старая тряпка... пьяница! Опять где-то налился!

Кто-то налетел на него сбоку, схватил в охапку и вкинул под укрытие арки. Это был Карабанов.

– Вы... что? – сказал он, не в силах отдышаться. – Вы разве не видите, какой огонь! Вас же убили бы...

Турки усилили стрельбу, и стоны раненых потонули в барабанной стукотне выстрелов, в режущем уши пулевым свисте. Бело-розовые стены крепости быстро-быстро – почти на глазах людей – покрывались оспенной рябью под частыми ударами сотен и тысяч пуль. Ржали у коновязи напуганные лошади, отлетали карнизы окон, звенели стекла, в воздухе висла мучнистая пыль штукатурки.

– Ну, спасибо вам, коли так, – ответил Штоквиц.

Снова запели рога, и грохот стрельбы неожиданно оборвался. Казаки разом оживленно заговорили, высовываясь наружу, чтобы посмотреть вокруг – нет ли противу них какой-нибудь пакости? Ватнин тоже поднялся во весь могучий рост, прошел над пропастью стены, спрашивая:

– Признавайся, казаки: кто из вас обмишурился? Кого и в какое место?..

Казаки уже наловчились прятаться от пуль, и раненых среди них не было. Назар Минаевич, довольный этим, потянулся до хруста в костях и ударом сапога скинул со стены фаса раскромсанное пулями ведро.

– Сейчас бы нам, братцы, – мечтательно сказал он, – хорошо бы пива сюда станишного. Бочонок бы! А?.. Или, куды ни шло, квасу смородинового.

Егорыч, слюнявя цигарку, сожмурился конопатым лицом:

– Это ты к чему, сотник?

– Это я так, – смутился есаул, – для разговору больше...

Ватнин поднес к глазам старенький, за два пуда овса на майдане выменянный, французский бинокль. С высоты фаса было видно, как редифы, обученные британскими инструкторами, рыли траншеи: земля взлетала с их лопат высоко над бруствером, и штуцерный огонь грозил стать особенно плотным и опасным.

– Турки-то, – буркнул Ватнин, опуская бинокль, – тоже мух ноздрями не ловят. По всем правилам траншей ведут...

Дениска грянул по туркам метким выстрелом и, дурачась, положил винтовку около себя, целуя ее в пятку приклада:

– Ух, и разлюбезная же ты моя! Всем хороша ты, милая, только вот спать с тобою нельзя, как с девкой.

Егорыч покурил еще, пока сигарка не стала обжигать ему пальцы, и тогда передал огарыш Дениске:

– На, потяни... Не сносить тебе головы, парень. Шибко озорной ты, за тебя и девка не пойдет никакая. А даром-то, по-пустому, ты не дразни турка. Иначе он покою тебе не даст!

– Эва! – огрызнулся Дениска. – Да што он мне – приятель какой? Я с ним, кровососом, на одном-то лужке и по нужде не присяду. Мне с ним детей не крестить!

– А вот и крестный отец идет! – вдруг засмеялся вахмистр Трехжонный. – Смотри-ка, станишные, турки нашего маркитанта Мамуку гонят!

Действительно, со стороны Ванской дороги показалась странная процессия, во главе которой, махая белой тряпкой, шел Саркиз Ага-Мамуков; его сопровождали два здоровенных курда в красных рубахах и сухопарый англичанин в длиннополом сюртуке с повязкой Красного Полумесяца на рукаве.

– погоди стрелять! – предупредил Ватнин. – А ну, эй ты, дуй до его высокоблагородия. Скажи – типутаты жалуют.

Посмотреть парламентаров вылезли на стену переднего фаса немало солдат. Вскоре прибежал по-злому взволнованный Штоквиц.

– Эй! – с ходу заорал он. – Убирайтесь ко всем собакам!.. Вы уже перебили наших раненых, а потому нам с вами говорить теперь не о чем. И ваших предложений, какие бы они ни были, мы не принимаем.

Снизу послышался голос Ага-Мамукова: от имени Фаик-паши русскому гарнизону предлагалось сложить оружие и поселиться всем вместе в одном из кварталов города, который будет очищен специально для размещения крепостного гарнизона.

В ответ солдаты и казаки рявкнули дружным хохотом:

– Эй ты, кишмиш базарный! Иди сюда ближе, мы с тебя патрет сымать будем. Какой ты есть, в рамочке повесим...

– Цто, цто? – донеслось снизу. – Я цовсем уже больная, никак не слышу...

– А ты вот подгребай сюда, рвань султанская! Мы тебе сухари вспомним, куркуль собачий!

Один из курдов вдруг подбежал к самым воротам крепости и, размахивая широким ятаганом, в гневе закричал, что завтра он будет уже внутри цитадели и вот так (он показал – как) отрежет голову Назар-паше.

– Секим, гяур, секим! – кричал он, приплясывая и тыча ятаганом на Ватнина, богатырская фигура которого резко выделялась среди других.

Тут не вытерпел Дениска Ожогин и, расстегнув пояс, справил нужду с высоты прямо на парламентаров.

«Переговоры» (если только можно назвать переговорами эту скандальную перебранку) были уже закончены, когда Пацевич второпях выбрался на стенку переднего фаса.

– Батенька вы мой! – плачуще накинулся полковник на Штоквица. – Ну что же вы, голубчик, наделали?.. Без ножа всех режете. Надо ведь было встретить делегацию согласно церемониалу, по всем законным правилам, как это указано...

– В зелененькой книжечке генерала Безака? – перебил его мрачный Штоквиц. – Вы можете презирать меня, полковник, но я люблю переплеты черного цвета. Чем же я вас зарезал?

– Господи! Да ведь надо было узнать об условиях, – подсказал ему Адам Платонович, воровато оглянувшись.

– *Условиях*... каких условиях? – спросил Штоквиц, нарочито повышая голос, чтобы его могли слышать солдаты. – Условия могут быть только при сдаче крепости на милость победителя. А при том, что мы сдавать крепость не собираемся, то и условий никаких, по-моему, быть не может!

– Да. Все это так... Однако же я думал, что... Да и вы, конечно, не станете возражать. Впрочем... – Пацевич окончательно заблудился в словах и, безнадежно плюнув, побрел обратно к лестнице.

В узком проходе арки, возле фонтана, он поймал Карабанова и, придержав его за пуговицу, с чувством поделился:

– Сейчас, наверное, только один вы поймете меня, поручик. Это не гарнизон осажденной крепости, а... простите, какой-то кабак!

– Что ж, – отозвался Андрей вяло и безразлично. – Кабаки тоже бывают хорошие. Все зависит лишь от кабатчика.

Карабанов вышмыгнул из-под арки. Хотел направиться в конюшни, чтобы хоть погладить морду своего любимца Лорда, не поенного со вчерашнего дня, но тут послышался тонкий ноющий свист. Потом шипение, и вот уже что-то круглое, окутанное сизой вонью, тяжело шлепнулось рядом с ним и, бешено крутясь и подпрыгивая, с дребезжанием покатило по земле.

– Ядро! – крикнули рядом с ним, и тут же второй снаряд разнес патронный ящик; третья бомба упала где-то на переднем дворе, откуда послышатся почти радостный возглас: – Пацевича убило!..

Карабанов, выждав передышку в стрельбе, кинулся на фонтанный двор:

– Где? Что с полковником?

Адам Платонович был здесь же, под аркой. Он стоял на корточках, и задняя часть его штанов слегка дымилась. Карабанов стал уговаривать Пацевича идти в госпиталь:

– Вы же ранены... К чему такая самоотверженность?

Пацевич, растерянный и бледный, стряхнул искры со штанов.

– Вы думаете, я ранен? – обалдело спросил он.

Откуда-то сбоку уже появились носилки, и Пацевича с необычайной заботливостью стали укладывать на кусок грязной, забрызганной кровью парусины.

– Несите осторожней, – напутствовал Карабанов санитаров.

Но, очевидно, полковник понял, что от него хотят просто избавиться, и, как следует ошупав себя, вдруг разразился в ответ похабной руганью:

– Идите вы все... Вам бы только. Прочь пошли!

Турки снова начали обстрел крепости. Передвигаться стало весьма опасно. Особенно трудно было перебегать из одного двора в другой, и госпиталь Баязета в первый же день осады значительно пополнился ранеными. Фельдшера Ненюкова Сивицкий поставил только на извлечение пуль, и за несколько часов работы тот извлек уже тридцать четыре пули, начиная от патронных и кончая просто кусками насеченного топором свинца.

Китаевский занимался большей частью лечением рубленых и резаных ран, а также ампутированием гангренозных конечностей. Самые же серьезные операции проделывал капитан Сивицкий – в пропитанном кровью балахоне, засучив рукава, охрипший от приказов и ругани,

едва не падая от усталости, капитан проводил сейчас семнадцатую – самую страшную – операцию за этот день. На его столе, придавленный двумя дюжими санитарями, лежал молоденький милиционер-грузин: пуля прошла между челюстями, и он теперь не мог закрыть рта, из которого торчал разбухший, обезображенный язык.

Когда операция закончилась, мычащего от боли и страха грузина оттащили в сторону, а Сивицкому выпала первая минута отдыха. Александр Борисович выбрался на свежий воздух, но Клюгенау, появившись как всегда кстати, не разрешил врачу выходить на обстреливаемый двор. Он почти силком затолкал врача обратно в душную подворотню лазарета.

– Мне можно, – сказал барон, – и всем другим можно, а вот вам нельзя. Вы сейчас как никогда нужны гарнизону. И прошу вас – не спорьте...

– Черт с вами, с поэтами, – согласился врач, усаживаясь на ступени. – Вот у меня последняя сигара. Выкурю сейчас ее, и не знаю – что делать дальше. Без табаку я не могу обходиться, хоть тресни.

Они посидели на ступеньках, молча вслушиваясь в нарастающий грохот обстрела.

– Стены выдержат? – спросил Сивицкий.

– Турецкую артиллерию выдержат, – ответил Клюгенау. – Но говорят, что турки сейчас тянут сюда на верблюдах крупновские пушки. А господин Альфред Крупп шутить не любит.

Мимо них по лестнице проволокли в госпиталь только что раненного конюха. Сивицкий потрогал его пульс, глянул в полуоткрытый рот и махнул рукой:

– Тащите не ко мне, а для отпевания. Он уже не жилец...

Недолго помолчав, Сивицкий сказал:

– Мы обречены делать чудеса. У нас нет даже воды! Я не могу промыть рану. Я вытаскиваю из раны вместе с пулей обрывки потного и грязного тряпья. Я знаю, что гангрена уже там, она уже сидит, проклятушая, в теле. А я бессилён...

– Ночью у вас будет вода, – подумав, ответил Клюгенау.

– Спасибо. Уж не собираетесь ли вы обратиться к милосердию миссис Уоррен, которая раскинула тридцать коек для турок?

– Нет, – ответил Клюгенау, – я совсем не умею разговаривать с женщинами. Но вода у вас будет. Сегодня же ночью. Ведра два-три я вам обещаю.

– Ладно. – Сивицкий докурил сигару и поднялся. – Я слышу, кто-то орет. Ему, наверное, приходится сейчас скверно, и мне надо идти к этому бедняге...

#### 4

За полдень Сивицкий раздал офицерам по кусочку сахара, капнув на каждую долю мятым эликсиром.

– Господа, – печально произнес он, – вы можете получать от меня каждый вечер по такому вот кусочку сахара, и это, пожалуй, единственное, что будет отличать ваше довольствие от солдатского.

За стеною крепости шумела река, наводя на мысль о прохладной воде. Погонщики ослов кричали с майдана: «Вайда, вайда!» Солнце, догорая к вечеру, багровело в расщелине амбразуры. Частые пули залетали в высокие окна и, плющаясь о стены, падали, обессиленные, на глиняный пол. Клюгенау, по-детски причмокивая, с аппетитом дососал свой сахар и, машинально глянув в бойницу, сказал:

– Теперь, уважаемые коллеги, нам разрешается немножко струсить. Я вижу отсюда еще один табор. Это подошли на подмогу Фаик-паше кочевники!..

Дикое, кочующее по Курдистану племя жило только одним разбоем и грабило оседлых курдов так же варварски, как и неверных гяуров. Сейчас они, почуяв верную наживу, подошли под стены осажденного Баязета и раскинули свои черные шатры в зеленеющей изложине

гор. Вскоре их жены в платках пунцового шелка, с подвязанными за спиной детишками, уже зашныряли в гуще майдана, вырывая для себя тряпку понаряднее, кувшин поглубже, бусы поярче, кошму потеплее. И местные торгоши-хососы не решались спорить с этими надменными и гордыми женами, ибо их грозные мужья были рядом, и торговля на майдане стала быстро рассасываться.

– Они, видать, пришли издалека и голодны. А потому и нетерпеливы, – заметил Ключегенау. – Их шейхи не пожелают выжидать, пока мы вымрем от жажды, и завтра, наверное, Фаик-паша решится использовать их горячий пыл!..

– Сколько же всего против нас? – спросил Карабанов.

– Тысяч двенадцать, а то и больше, – ответил Штоквиц не сразу. – Но одни, награвив, уходят, другие въезжают в город с пустыми возами.

– Господа, – спросил Евдокимов, притворяясь равнодушным, – как вы думаете, сколько еще дней мы сможем выдержать?

– Сколько? – переспросил Карабанов и тут же ответил: – Боюсь, что очень долго! Тер-Гукасов сейчас далеко от нас, а в Тифлисе думают, что мы пьем чихирь да барышничаем на майдане.

– Но все-таки, – настаивал юнкер, – сколько же: день, два или три?

– Десять! – выкрикнул Ключегенау, неожиданно озлобясь. – Двадцать, тридцать, сорок... сколько угодно! Достаточно единожды взглянуть на карту, чтобы понять: Баязет – ключ всего Ванского санджака, и Фаик-паша не осмелится перевалить через Агры-даг, пока мыдохнем, но не сдаемся в Баязете. Раскисни хоть на минуту, и тогда вся эта орда, что топчется сейчас перед нами, неудержимой лавиной хлынет в Армению, и тогда будут красить кровью не только крыши!

– Я... готов! – ответил Евдокимов. – Только зачем же так кричать на меня? Двадцать дней или сорок – пусть; жалоб вы от меня не услышите!..

Стены цитадели вдруг глухо вздрогнули, через амбразуру полыхнуло на людей жарким дневным воздухом, откуда-то сверху полетели куски штукатурки.

– Прочь от окон! – велели со двора. – Наша батарея теперича вдоль самой стенки гранаты кидает. Сторонись, братцы, уже половину балкона в реку снесло!..

Штоквиц осторожно выглянул наружу и подивился находчивости Потресова.

– Ай да молодец наш старик! – похвалил он майора. – Выдвинул оружие прямо в про-стенек редута и сразу сократил мертвый угол. Полбалкона действительно отшибло, но – вы посмотрите – турки улепетывают из окопов!..

Штоквиц остановил одного солдата, послал на батарею:

– Спроси, кто наводчик? Скажи, что за такую стрельбу «Георгий» ему обеспечен.

Посланный скоро вернулся, широко улыбаясь еще издали:

– Ваше благородие, и посылать меня было ненадобно. Про то все в гарнизоне знают, что лучше Кирюхи Постного нет канонира!..

Да, это была правда – глаз Кирюха имел некрасивый, с желтоватым зрачком, словно у рыси, но и зоркий; особенно остро видел он правым – боевым. И больше всего любил он в жизни две вещи: хрустящие горбушки от хлебных караваев и вот такие горячие моменты, когда вся прислуга повинуется его возгласу:

– Правее станок... ударь вправо! Еще, еще...

– Отскочи! – кричит фейерверкер.

Кирюхино сердце, здоровое сердце крестьянского парня, мерно выстукивает время, надобное для полета снаряда. Часов, конечно, Кирюхе во всю жизнь не иметь, и считает он секунды лишь ударами своего сердца.

– Шесть, – говорит Кирюха, – приходи, кума, любоваться!

Кто-то пустил по крепости слух, что за отличную стрельбу Пацевич выделил батареям полведра воды, и юнкер Евдокимов, терзаемый жаждой, побрел на задний двор.

Конюхи потерянно бродили вдоль коновязи, старались убрать все ведра, один вид которых приводил животных в неопишемую ярость. Они били копытами о твердую землю, тихо ржали, стараясь хватить человека губами за платье, чтобы напомнить о себе: ведь они-то ничего не знали об осаде и, наверное, им, бедным, казалось, что о них просто забыли эти двуногие повелители, на которых они так славно трудились...

– Где же майор Потресов? – спросил юнкер.

– А эвон, на батарее...

Евдокимов с удивлением проследил за тем, как странно сегодня ведет себя артиллерист. Старый офицер, обычно такой скромный и по-солдатски осторожный, сейчас словно решил поиграть со смертью, которая кружилась вокруг него.

Рискуя угодить под глупую пулю, Евдокимов выскочил на середину двора, схватил старого офицера за локоть:

– Николай Сергеевич, это ведь никому не нужно. Мы и так знаем о вашей смелости. Уйдемте отсюда, уйдемте...

Потресов обернулся, и лицо у него при этом было каким-то отвлеченным, словно он уже заглянул туда, откуда никто не возвращается. Сразу как-то сникнув и сильно побледнев, Потресов покорно дал юнкеру увести себя в укрытие. Они прошли в опустевшую кухню, заваленную черепками битой посуды, и присели на корточки возле обшарпанной грязной стены.

– Зачем вам это? – добавил Евдокимов, жалея старого офицера острой жалостью своей немного наивной души.

Майор жалобно всхлипнул, на добрых глазах его проступили слезы:

– Я уже старый дурак. И вам этого не понять. Только вот беда – пули-то не берут меня, не трогают... А мне – надо! Хотя бы одну... Молю бога, чтобы не в живот только, тогда мне не выжить. Не для себя надо – для послужного формуляра надобно! Тогда-то пенсион мне, голубчик, уже выше пойдет. Хоть на старости лет кусок хлеба иметь буду...

Евдокимов, в душе которого сейчас острая жалость боролась с презрением, медленно поднялся, обтирая спиной грязную стенку.

– Я вам... противен сейчас, да? – понуро спросил Потресов.

Вбежал растрепанный, забрызганный кровью фейерверкер:

– Ваше благородие. Кирюху-то... Кирюху-то нашего!

– Что с ним?

– Кирюху-то, говорю, зараз вранило.

– Он жив?

– Его сюды вот, – чмокнул фейерверкер губами, – прямо аж сюды турчанка поцеловала!..

Раненого канонира втащили под укрытие. Лицо Кирюхи было в крови, бормотал он что-то, хлюпал. Вытерли кровь: отделался парень сравнительно легко – пуля прошла под самым его носом, сильно распоров верхнюю губу, еще безусую, совсем юную.

– Эх, родимый, – пожалел его Потресов, – не уберется...

Канонир мычанием и жестами показал, чтобы глаза ему не заматывали: он в госпиталь подыхать не пойдет, при батарее останется. Глаза ему нужны будут – станок правее, станок левее, он это еще сумеет!..

Правдив ли был тот слух о полуведре воды, выданном батареям, так и не узнал юнкер Евдокимов, но попросить глоток воды постеснялся и решил ждать ночи.

– Ночью-то мы, господин юнкер, напьемся водицы, – посулил ему солдат Потемкин. – Только бы ночка потемней выдалась, а уж там-то мы дорогу найдем!

5

Восьмой по счету сын поглупевшего от пьянства дьячка из деревни Нижние Сольцы Корчевского уезда Тверской губернии, – как ему страшно сейчас! И он понимает пренебрежительную холодность экзаменаторов, – ведь он сейчас в их глазах смешной и зарвавшийся выскочка, который с порога мужицкой избы дерзает лбом отворить позлащенные двери академии генерального штаба.

– Тейлорова и Маклонерова теоремы, – говорят ему. – Есть два решения: одно, предложенное Буняковским, и второе – академиком Остроградским.

Одноглазый академик грузно поворачивается в кресле. Перед ним услужливо ставят стакан с водою, и почтенное мировое светило окунает в него желтые от табака пальцы, промывая слезящуюся язву пустой глазницы.

– Вопрос несложный, – говорит академик. – Даю вам десять минут на решение обеих теорем.

Да, вопрос несложен для вас, господа. Но как он сложен для него, бегавшего в соседнее село к отставному солдату, который учил его «буки-веди-глаголь-добро». Время летит быстро, розовый мелок крошится в пальцах, в стакане перед экзаменатором уже плавает какая-то противная муть...

– Я не могу... помогите мне! Помогите...

.....

– Помогите мне! Помогите...

Некрасов очнулся от собственного стога и с трудом разлепил глаза. Над ним висело высокое небо, и несколько курдов в одежде из верблюжьей шерсти, с башлыками на головах, кружком сидели невдалеке.

– О-о-о, – невольно вырвался стон, и курды, распластав широченные рукава, поднялись на воздух и улетели: это были не курды, а громадные грифы рыжего оперения, алкавшие человеческой крови.

Беспамятство перемежалось с бредом, и в горячечном бреду он переносился с Английской набережной Петербурга в высокий шатер полковника Хвощинского, который со смехом лил ему чихирь в долбленную азарпешу.

– Что со мною? – сказал штабс-капитан и только сейчас заметил, что лежит на земле абсолютно голый. Мародеры, приняв его за мертвого, содрали даже подштанники. В этой наготе было что-то жалкое и унижительное для человека.

– Какие подлецы... Боже мой, какие подлецы!

Некрасов стиснул челюсти, но обида на людей и страшная боль, рванувшая тело сразу в трех местах, вызвали невольные рыдания. Тогда он понял, что лучше не сдерживать себя, и дал полную волю слезам, лежа на спине и глядя в пыльное небо. Потом, когда слезы оттянули досаду, Юрий Тимофеевич привстал на локте и внимательно огляделся.

Вокруг него в жутком безобразии валялись мертвецы: они, как и он, были за ночь уже раздеты донага, причем были ограблены даже турки и курды. (Мусульман Некрасов отличал от своих солдат по красным и зеленым шнуркам, стянутым на запястьях: это были священные амулеты, повязанные их женами и матерями.)

– Неужели я остался один?..

Голый и живой, среди голых и мертвых, штабс-капитан долго ползал среди трупов, отыскивая между павших солдат хоть одного с признаками жизни. Но нет, повезло в этой отчаянной схватке, видать, только ему: солдаты Крымского батальона, верные своим славным традициям, полегли под ятаганами, но задержали врага на подступах к цитадели.

– Значит, один...

К нему подошла бродячая собака, облизала ступни его ног. Некрасов не отгонял ее. Их было много, таких собак: красивые борзые или же крупные густопсовые волкодавы, они потерянно бродили среди убитых турок, отыскивая погибших хозяев. И когда находили, то ложились с ними рядом, словно оберегая.

Откуда-то послышались людские голоса, скрип тележных колес и мычание буйволов. Юрий Тимофеевич подобрал брошенный кем-то длинный, спицеобразный кинжал с круглым посеребренным шаром, заменявшим рукоять, и медленно пополз в сторону Ванского тракта. На дорожной обочине росли громадные лопухи. Он укрылся под ними, наблюдая, как волочитесь в пыли буйволовая упряжка. Высокая телега была набита какими-то мешками, и на этих мешках сидел мужик в русской посконной рубахе, а за его спиной цвела пестрым сарафаном здоровенная девка с лукошком на коленях. Ну совсем как в России! И офицер не сразу догадался, что это местные молокане едут куда-то мимо Баязета в свою деревню.

– Люди добрые, – позвал их Некрасов, – помогите мне...

Мужик остановил волов, сразу же опустившихся в мягкую пыль, не спеша слез с воза и отогнул лопухи, под которыми лежал Некрасов.

– Царский человек, быдто? – спросил он недоверчиво. – В офицерах ходишь или же так, приневоленный?

– Офицер я... мои солдаты там... как один!

– Брось ножик! – сказал мужик строго. – Или не устал ты еще грешить-то противу Христа?

Некрасов воткнул кинжал в мягкую землю, застыдилась своей наготы.

– Нюшка! – крикнул мужик-молоканин. – Кинь-кось тряпицу сюда. Царскому человеку срам нечем прикрыть!..

Некрасова положили на дно повозки, среди набитых чем-то мешков, и девка, распахнув широченный сарафан, накрыла им Некрасова, словно колоколом. Повозка тронулась, отчаянно грохоча по рытвинам, и Юрий Тимофеевич, глядя снизу вверх, видел только вздернутый нос молодухи, ее крепкие загорелые скулы и выпяченные вперед румяные губы, на которых висла шелуха подсолнечников.

– Далеко ли? – спросил он, стараясь не стонать.

– Хутор-то?

– Да я уж не знаю – хутор или деревня, куда вы меня везете-то?

– Не. – Девка повернула к нему лицо, красивое особенной дородной красотой русской крестьянки. – Тятенька вас на хуторе спрячет.

– Тебя зовут-то как? – спросил Некрасов.

– Анною буду. Тятенька-то Нюшкой кличет.

Повозка поднялась на гору. Некрасов вытянул шею, всматриваясь в сторону города. Баязетская цитадель высилась вдалеке, окутанная дымом и пылью, а над башней минарета колыхалось гарнизонное знамя.

– Лежи уж, лежи! – прикрикнул на него мужик. – И без того в чем душа только держится, а на убивство-то тебя так и тянет.

Султанские воины молоканскую повозку не трогали, да и встретились они только единожды: конвоировали две трескучие арбы, на которых перевозился гарем какого-то чиновника. Турецкие жены были до самых глаз укрыты яшмаками, но яшмаки их столь прозрачны, что Некрасов заметил и румяна щек, и густо насурьмленные брови красоток.

Когда эта процессия, со смехом и лепетанием грызущая сласти, миновала Некрасова, молокане свернули в сторону, и скоро буйволы втянули повозку на хутор, уютно расположившийся в неглубокой лощинке. Крепкие избы-пятистенки гляделись окнами в ущелье, на кольях тына висели горшки и тряпки, по крышам домов важно расхаживали аисты, тихие и величавые.

Пришли мужики, такие же чистые и здоровые, как и привезший его Савельич. Поцеловав друг друга, они с тихими молитвами и присловьями внесли штабс-капитана в прохладную горницу. Положили на лавку: вдоль стен теснились громадные, железом обитые сундуки с добром. Икон в доме не было – вместо них висели ветхозаветные скрижали.

– Ладно, в боковицу его сховаю, – сказал Савельич, снова целуясь с мужиками. – Мне это не греховно будет, хоша он и присягательный человек. Пушай отлежится в благодати нашей. А ввечеру и старицу Епифанию привезть надобно, чтобы врачевать его поскорее.

Некрасова спрятали в «боковице» – маленькой клетушке в приделе избы, где хранились перезрелые, растрескавшиеся тыквы. Под потолком сушились пучки каких-то трав, от них одуряюще сладко несло дурманом. Аннушка принесла офицеру светлого меду в деревянной чашке и кусок пресного кукурузного хлеба.

Штабс-капитан поймал ее большую влажную руку, прижал к своим высохшим от страданий губам.

– Спасибо вам, – сказал он и заметил, как испуганно оглянулась на дверь молодая раскольница. – Я вам так благодарен... Ну куда бы я делся? Просто счастье какое-то.

Девушка сильными тычками кулаков взбила под ним жаркие подушки. Помахав полотенцем, выгнала за дверь одинокую муху. Потом поклонилась ему с порога и ушла, пылающая и гордая. Некрасов едва-едва притронулся к меду и, забыв о боли, погрузился в чуткий сон и был разбужен лишь поздним вечером.

Ярко светила керосиновая лампа. Перед ним, беззубо улыбаясь, сидела страшная горбоносая старуха гречанка с глазами такой удивительной красоты, какую Некрасов не встречал даже у девушек. Штабс-капитан догадался, что перед ним та самая старица Епифания, о которой говорил Савельич, и он начал задирать на себе рубаху, чтобы показать раны.

– Ого, – сказала знахарка, – пана офицера убить проклятым османам не удалось!

Епифания говорила по-русски, однако с польским акцентом, и в разговоре выяснилось, что старуха провела свою молодость в Пулавах, где блистала красотой при дворе магнатов – князей Чарторыжских, – и хорошо помнит еще императора Александра Павловича. Каким образом занесла ее судьба сюда, в знойные долины Арарата, штабс-капитан спрашивать не стал и покорно подставил ей свои страшные разрезы.

– Кровь молодая у пана, заживет быстро, – сказала гречанка, и с осторожностью, удивительной для ее скрюченных от старости костлявых пальцев, она долго, почти неслышно втирала в раны пахучую мазь. – Я много жила среди русских, – говорила старуха. – И я знаю, какие они терпеливые. Пану лежать недолго, завтра его раны уже будут чистыми. О-о, я умею лечить!

Покидая Некрасова, старуха вдруг приникла к самому уху офицера и горячо зашептала:

– Я ненавижу их... этих султанских собак, которые сгубили мне жизнь. Я ненавижу их лица и адаты, их детей и женщин, я сожгла бы весь этот край! В моей юности греки и русские были братья, и я счастлива теперь... О-о, только один бог знает, как я радуюсь, когда вижу вас здесь, в Баязете, и ваши флаги на башнях!

Некрасов поглядел в прекрасные сухие глаза старухи и увидел в них такой огонь ненависти, что ему сделалось страшно.

– Матушка Епифания, – сказал он, – я ни о чем не спрашиваю. Путь из Пулавского замка до Баязета очень далек, и я догадываюсь, что ваша судьба сложилась ужасно.

– Сын мой, *ужасно* – это не то слово. Из гордой фанариотки, друга Байрона и князя Ипсиланти, меня сделали здесь... рабой!

Она ушла. Сколько же ей лет, если она знала еще Байрона и была другом знаменитого героя Греции, свободолюбивого повстанца Ипсиланти? Некрасову стало душно, спину палило огнем, но этот огонь был ему даже приятен. Боль медленно отступала, уже побежденная в его теле, и он снова заснул, чтобы проснуться от частого перестука выстрелов.

Штабс-капитан осторожно подтянулся к окну, заглянул в мрачную ночь. Крепость Баязета светилась вдали вспышками выстрелов, и цепочка огней растекалась вдоль речного русла.

В сенцах послышались легкие шаги, вошла Аннушка.

– Вы не бойтесь, – сказала девушка. – Это ваши казаки стреляют. Они пить хотят, им река нужна очень.

Аннушка привернула фитиль и задула лампу:

– Спите...

## 6

Штоквиц раздал вечером гарнизону остатки воды и со злостью пихнул от себя пустую, гулко задребезжавшую бочку.

– Караул от воды снять, – велел он Участкину. – Пить больше нечего. Можете полизать днище, коли хотите...

Это было сказано в виде грубой шутки. Но один солдат действительно залез в бочку головой, облизывая ее сырые заплесневелые стенки. Теперь жажда коснулась всех, и на этого солдата уже никто не смотрел как на сумасшедшего.

Карабанов, без офицерского сюртука, в одной нательной рубахе, опоясанной подтяжками, подошел к Штоквицу.

– Вот, полюбуйтесь, – сказал комендант, показывая на торчащий из бочки зад солдата. – Не угодно ли и вам стакан лафиту?

– Я иду из конюшен, – поделился Андрей. – Лошади рвут ездовых зубами, просят на водопой. Не знаю – кому как, но мне смотреть на их муки гораздо тяжелее, чем на людские. Ведь они-то не могут разуть, во имя чего мы жертвуем!

– Понимаю, – ответил комендант, – вашему Лорду цены нет, и жеребца, конечно, жаль. Однако придется до поры до времени лошадям потерпеть.

Они стояли возле крепостной стены, щедро излучавшей накопленный за день жар, и офицеры невольно, не сговариваясь между собой, отодвинулись от фаса.

– Да какой же поры? – спросил Карабанов. – И на что вы надеетесь?

Штоквиц посмотрел на поручика мутным нехорошим взглядом.

– Лошадей... сожрем! – просто сказал он. – И вашего Лорда тоже. Офицерских – в первую очередь. У нас есть ячмень, но всухую жевать его не станешь. Имеется запас муки, но ее, чтобы напечь лепешек, не на чем развести. Конина – вот что выручит нас. А с вашего Лорда и начнем...

– Нет уж, – с издевкой возразил Карабанов. – Я предлагаю начать это роскошное пиршество с вашего любимого котенка. Кошатишка-то, я думаю, еще не приелась!

Карабанов решил, что комендант обидится, но Штоквиц даже глазом не моргнул, ответил в том же духе.

– И котенка сожрем, – согласился он. – И подметки жарить будем. И локти отгрызем один другому, но... только бы выдержать! Я еще не потерял веры на помощь от Тер-Гукасова.

Карабанов подвынул свою шашку из ножен, задумчиво посмотрел на холодное лезвие и толчком вбросил клинок обратно.

– Ладно, – сказал. – И не такие головы, как моя, пропадают!..

Капитан и поручик разошлись в разные стороны. Поговорили хорошо, как офицеры, но как люди они мало интересовались друг другом. Штоквиц тут вспомнил о беженцах. Решил, что все-таки напрасно пустил их в крепость. Своим пить-есть нечего.

Спасенные от гнева курдов и турок, беженцы занимали помещения второго двора, и Ефрема Ивановича еще с лестницы оглушил женский гам, слагаемый из множества наречий,

писк голодных детишек, ворчание старух и унылые армянские плачи-молитвы. Беженцы располагались на ночь, уже наворовав откуда-то сена для постелей.

Свертками с жалким скарбом грузинки отгораживали своих детей от еврейских, еврейки – от осетинских и армянских, хотя, казалось бы, сейчас все были равны в своем ужасном бедствии.

– А ну – тихо! – гаркнул Штоквиц. – Тихо, а то всех за ворота выставлю, чтобы и не возиться тут с вами!

Потом, выждав тишины, комендант спросил, получен ли ими ячмень, который он велел выдать на кухне. Да, они были очень благодарны русскому сердару за ячмень, – вот если бы он еще велел дать им немного соли.

– Дам соли! – кратко ответил Штоквиц.

Под этими сводами хранилась громадная каменная ступа, в которой полагалось заживо толочь трехпудовым пестиком священную особу кадия или муфтия, если он отступал от своей веры. Теперь как раз в эту ступу был засыпан ячмень, и две толстые вспотевшие женщины усердно толкли его прикладами трофейных винтовок.

– А воды нет, – сказал Штоквиц. – Ни за какие деньги. Потерпите. Может быть, ночью казаки извернутся, и тогда можно будет напоить детишек.

Из темного угла пугливым зверенышем глядела девочка лет семи-восьми. Штоквиц уже заметил, что стоило ей только выползти оттуда, как женщины плевками и руганью гнали ее прочь от своих детей. Девочка смотрела на коменданта крепости, и мелкие пиастры, вплетенные в ее косички, слабо мерцали в потемках. Капитан догадался, что эта сирота – ребенок турецкий, следовательно, дитя отверженное: здесь ей не дадут ни куска чурека, ни глотка воды.

Штоквиц вытянул девочку на свет божий, взял ее на руки.

– Как же ты попала сюда? – спросил понежнее.

Маленькая турчанка вдруг крепко обхватила ручонками толстую багровую шею коменданта и на все вопросы его лепетала только одно:

– Аман, урус... аман, урус... аман, аман...

Штоквиц прижал к себе теплое тельце девочки и вдруг яростно наорал на женщин:

– Разгону всех к едреной матери! Чем она виновата перед вами?.. Отдай винтовки сюда! Нашли, толстозадые, чем ячмень толочь! И так сожрете...

Держа в одной руке винтовки, в другой – девочку, капитан выбрался во двор, прошел в помещение казармы.

– Ребята! – сказал Штоквиц, обращаясь к солдатам. – Вот эта соплячка не наша... Она, как ни крутись, а турчанка. Армяне злобятся. Очень уж им турки насолили. А девчонке-то ведь все равно, кто она – турчанка или русская. Ну, так вот – берите ее! Я бабам детей не доверяю...

Солдаты хмуро посматривали на коменданта, вокруг шеи которого были обвиты слабые детские руки. Штоквиц брякнул наземь винтовки:

– Чего молчите?

Потемкин крепко потер на лысине темный рубец, оставленный острой саблей.

– Ежели одному мне ее, – сказал он, – так я согласен. Бог своих-то не дал. Жена, пока я здесь пропадаю, совсем подол истрепала. А мне ведь дите иметь надобно. Ну, как тебя там?.. Иди сюда, черномазая. Я тебе, куды ни шло, водицы раздобуду...

Солдат протянул к девочке руки, но она вдруг метко цапнула его зубенками за палец. Штоквиц стал отдиравать ребенка от шеи:

– Иди же. Ну, иди, глупая... Солдаты не кусаются!

Старый гренадер Хренов молча полез за пазуху. Вытянул цветастый кисет, что болтался на сыромятном ремешке рядом с крестиком. Расштал зубами туго стянутый узел, долго нащупывал что-то среди убогих воинских драгоценностей. Наконец извлек дешевенький леденчик, протянул его девочке:

– Эвон, вкуснятина-то какая! Ишо с Тифлису берег для тебя. Сосай, родимая. Ён кисленький...

Штоквиц раскрыл портмоне из пропотевшей кожи. Достав золотой «лобанчик»<sup>3</sup>, он отдал его старому гренадеру:

– Держи, хрен старый. Держи, пока я не раздумал.

– А мне-то за што? – удивился дед.

– За службу...

Хренов «лобанчик» взял и пообещал пропить его сразу же, как только выберутся из Баязета.

– А теперь, – сказал Штоквиц, поглядев на свои часы, – теперь вы спать не ложитесь. И готовьте тулуки – воды надо добывать. Раненым надо. Бабам надо. Нам тоже надо...

Смельчаков, желавших пойти на отчаянную вылазку, набралось в эту ночь немного. Впрочем, много их и не требовалось – дело рискованное, суеты не терпящее. Из отхожего места, через сливное отверстие которого предстояло выбраться из крепости, несло густым и тяжким ароматом. В потемках подземной галереи позвякивало оружие и кувшины, солдаты выгоняли из тулуков воздух, чтобы свернуть их поудобнее.

– Кто идет? – спросил Штоквиц. – Назовись!

– Пьянков... Мочидлобер... Участкин... Кирильчук... Цхеидзе... Потемкин... Немни-уши... Ожогин... Невахович... Папазян... Цагараев... Адамюк... Трехжонный...

– Все? – Штоквиц поднял над головой фонарь, оглядывая охотников. – А это еще кто там? Никак вы, Карабанов? Вам-то что не сидится в крепости?

Андрей поправил на поясе чеченский кинжал в деревянных ножнах; на этот раз он был без погон, в одной лишь солдатской рубахе, на голове его сидела вытертая, приклепнутая сверху казачья папаха.

– Я хочу немного размяться, – ответил он.

– Такая разминка вам может дорого обернуться!

– Думаю, что не дороже воды, – ответил Карабанов.

– Ладно. Будьте тогда за старшего.

Из темноты неожиданно выступила тонкая женская фигурка. Аглая Хвошинская была в темной одежде, словно монашенка, но Штоквиц догадался, что этот наряд вряд ли означал траур. Скорее всего, Сивицкий заставил ее переодеться в черное платье, чтобы не привлекать внимания турецких стрелков.

– И вы, мадам? – удивился Штоквиц, поднимая фонарь повыше, чтобы разглядеть выражение лица женщины.

– Я бы тоже хотела спуститься к реке. В госпитале не хватает бинтов. Я прополощу старые.

– Ну уж нет, – ответил Карабанов, перехватывая из рук женщины сверток тряпок, запекшихся от крови и мазей. – Вам это не к лицу. Позвольте уж мне!

Крестясь и чертыхаясь, выбрались охотники в пролом зловонной амбразуры, озираясь по сторонам, цепочкой растеклись в темноте. Вокруг было тревожно и жутко, брехали где-то собаки, зыкали одинокие пули. В руках ефрейтора Участкина звякнул кувшин о камень, и вахмистр Трехжонный, на правах старшего, навесил ему сзади кулаком по шее.

– Халява, – прошипел он, – вот только брякни мне ишо своим самоваром!..

Карабанов кипу грязных бинтов, конечно, тут же передал на ответственность солдат, а сам, выставив на отлет кинжал, крался впереди охотников, раздвигая цепкие заросли виноградников. С крутого склона оврага съехал на спине, перебирая ногами по камням. За ним,

---

<sup>3</sup> Лобанчик – народное название золотого червонца Голландии, которые тайно чеканились в России с 1735 по 1868 год, и в периоды войн ими выплачивалось жалованье русским войскам, сражавшимся на Кавказе и в Средней Азии.

обрушивая шумные песчаные осыпи, скатились вниз и остальные. Целая пачка выстрелов рванула тишину, штуцерные пули тяжело зашлепали в песок. Охотники присели.

– Не спят, сволочи, – сказал Участкин. – Не хотят воды нам давать...

Выбравшись на берег, Карабанов первым делом надолго припал к пенистой реке, жадно заглатывая темную холодную влагу. Рядом с ним, почти в молитвенных позах, тянули ртами воду казаки и солдаты. На другом берегу чернели сакли, мерцали тусклые огни, дыхание ветра доносило сладкий дымок печей.

Всхлипывая и бурно выбрасывая пузыри, тулуки уже пили воду, набираясь драгоценной влагой. Дениска, чтобы наполнить высокий кувшин, побрел по колена в воде на середину реки. Осмелев, вернулся обратно в полный рост.

– Ваше благородие, – позвал он Андрея, – чичас только и смекать надоть. Дозвольте отлучиться малость?

– А куда тебе?

– Да недалече тут. Курить-то ведь надо чего-нибудь.

Карабанов жажду уже утолил, сидеть ему здесь надоело, и он предложил:

– Ладно. Пойдем вместе...

Расталкивая ногами вязкую чернеть воды, вброд перешли на другой берег. Таясь в тени изгородей, перемахнули дорогу, посидели чуток в кустиках барбариса. Вокруг было спокойно. Лишь где-то в армянском городе слышались взрывы дружного хохота; иногда Карабанов улавливал какой-то треск, словно пьяные мужики ломались в запертые двери.

– Хорошо бы сейчас барашка, – мечтательно поделился Дениска. – Свинью бы тоже, конечно, неплохо. Да вот беда – завизжит, проклятая. У меня на свиней опыта не хватает. Ловкачи-то им, говорят, каким-то манером хвоста крутят, чтобы свинья не тревожилась, когда ее воруят.

Забрели на тесный дворик. Перед ними темнела полуразваленная сакля. Дениска толкнул дверь – открылась. Решили войти. В полном мраке на ощупь искали сундуки и полки. Пахло здесь чем-то парным, теплой кровью, словно хозяева недавно свеживали скотину. Пальцы поручика, скользя вдоль стен, царапали шершавую глиняную известку. Дениска споткнулся обо что-то, упал и вдруг заорал в испуге:

– Ой, ширкни свету... ваше благородие, ширкни серника!

Карабанов чиркнул серную спичку и сразу же задул ее:

– Пойдем скорее отсюда. С тобой, дураком, только свяжись – так и сам не рад будешь!

Выбрались из сакли, плотно затворив за собой двери, словно хотели навсегда запереть в своей памяти виденную ими картину.

– А чего орать-то, дурак? – бранился Карабанов, руганью скрывая робость. – Ну, лежат они там. Видать, уже второй день лежат. А орать-то зачем? Могли бы нас и услышать...

Дениска оправдывался:

– Да я, сотник, когда упал, так руку-то вперед себя вытянул. И прямо в лицо ему. Ладонской-то!.. Нос чую под рукой, губы человеческие. Невмоготу мне стало. Будто сон дурной вижу. А тут-то и детишки рядком притулились. Страх один, что они с армянами делают!..

Карабанов стиснул руку казака, чтобы тот замолчал:

– Тихо, стой... Редифы тащатся...

Мимо них, виляя среди плетней и загородок для скота, шли два турецких солдата. Один из них нес на плече старинный самопал с широким раструбом дула. Второй турок был пьян. За спиной Карабанова, жалобно и тонко, освобожденная из ножен, прозвенела сталь кинжала.

– Ты куда? – спросил он.

– А табачком разживиться, – ответил Дениска и, по-кошачьи выгнув спину, бесшумной повадкой абрека перемахнул через изгородь.

Карабанов перекрутил барабан револьвера. Приготовился идти на выручку в случае надобности. Но скоро два тихих возгласа, словно два всплеска, донеслись до его слуха, и Ожогин вернулся обратно, хвастаясь двумя кистетами:

– Это латакий. Табачок барский. Его только через тонкую бумажку курить надобно. Может, вы дадите мне книжку, какую уже прочитали?..

## 7

Когда врач Сивицкий, встретив вошедшую Хвоцинскую, сказал, указывая ей на револьвер, что ему поручено при появлении турок в крепости застрелить ее, если она не пожелает им достаться, то на это предложение получил от нее полное согласие...

*К. Гейнс*

День закончился. Он примечателен тем, что на всем его протяжении не было отдано ни одного существенного приказа по гарнизону. Офицеры словно понимали, что приказы сейчас бесполезны, и смело доверили судьбу осажденной цитадели мужеству и стойкости рядовых воинов.

Однако ночь давала передышку от стрельбы, и эту передышку нельзя было дарить лишь отдохновению от горячего дня. Было необходимо ломать камень, чтобы превратить окна в боевые амбразуры, перетащить в более безопасные места обозные и артиллерийские фуры.

Наконец, прапорщик Ключенау, который руководил работами, должен был еще и доказать пьяненькому Пацевичу, что все, что делается сейчас в гарнизоне, все делается так, как написано об этом в «зелененькой книжечке генерала Безака».

– Поверьте, господин полковник, – убеждал его инженер, – все совершается людьми разумно.

– А мне совсем не нужно, чтобы они... совершали! Я не могу командовать, если нету порядка.

– В том-то и дело, господин полковник, что сейчас никто не нуждается в командах.

– Да что вы мне здесь цицероните, прапор? – снова кинулся на барона Пацевич. – Какой же вы к черту немец, если не желаете иметь порядка?

– Что ж, – отозвался фон Ключенау, – не буду спорить. Из меня немец, прямо скажем, паршивый получился. Но русский-то офицер я не последний и потому смолodu привык доверяться смекалке и мужеству русского солдата!

– Да они умнее тебя, – показал Пацевич на солдат.

Ключенау вежливо поклонился, благо поклон спину не ломит.

– Опять-таки не смею оспаривать, – сказал он. – У нас в России так издавна повелось, что подчиненные всегда умнее своих начальников.

На этом разговор закончился, и Пацевич побрел в каморку Исмаил-хана Нахичеванского. «Пьют, негодяи», – подумал Ключенау, но делать из этого выводы ему было некогда. Майор Потресов позвал его на свой двор, чтобы обсудить подъем барбета.

– Скосить его надо, – посоветовал Ключенау. – Тогда орудие сможет бить через «банк», и утром Фаик-паша будет приятно удивлен вашей находчивостью.

Потресов сдвинул на затылок фуражку, почесал потный лоб.

– Знать бы мне, в каком только коровнике он прячется. И, поверьте, мой Кирюха Постный прихлопнул бы его там вместе с гаремом!..

Ключенау устало опустился на землю, растер колени:

– Нуют, проклятые... Майор! Вы случайно не видели – там валяется «единорог» времен царствования Екатерины Великия?

– Видел, – ответил Потресов. – Станок уже сгнил. Сплошная труха. К тому же и раковины!

– Это чепуха. Лафет можно сделать. Я мыслю так, Николай Сергеевич, что, коли нужда подопрет, этот «единорог» неплохо было бы пустить в дело!

– Боюсь, разорвет. Пороха нынче иные. Сильные.

– А наверное, – размечтался Клюгенау, – у этого «единорога» была славная молодость. Кто его притащил сюда?

– Кажется, князь Чавчавадзе! Он тоже писал стихи...

Прапорщик долго не отзывался. Лица его в темноте было не видно, и вдруг он сказал:

– Странно! Она совсем не относится ко мне серьезно. В ее глазах я всегда был чудачком, и не больше. А вот Карабанов – тот иной. Забавный человек, и —

...в нем это мудрено,  
Что он умничает глупо,  
А дурачится – умно!

Хотя многие в гарнизоне этого не понимают. Даже она...

– Вы это к чему? – удивился майор.

– Это я в отношении Аглаи Егоровны, – честно признался Федор Петрович. – Сейчас я боюсь попадаться ей на глаза. Говорят, она всю ночь провела там, – барон показал на землю. – Сивицкий пичкал ее, беднягу, снотворным, но она так и не легла всю ночь.

– Женщину жаль, – согласился Потресов. – Даже очень. Просто сердце переворачивается, как подумаю. Но без нее нам было бы, кажется, еще хуже. Что ни говорите, а все-таки мы петухи по природе. Когда женщина смотрит в нашу сторону, мы всегда хотим быть героями...

Сивицкий, несмотря на поздний час, спать еще не ложился. Он сидел в своем углу, отгороженном от аптекарского склада двумя простынями. Возле его локтя, рядом с надкусанным чуречком, лежал новенький револьвер с перламутровой ручкой. На столе перед врачом были разбросаны карты – капитан раскладывал дамский пасьянс «Амазонка».

– Пришли? – сказал он. – Это хорошо.

Клюгенау присел напротив:

– Вы получили воду?

– Два ведра. Спасибо охотникам.

Помолчали.

– Станный револьвер, – сказал барон. – Я совсем не знаком с подобной системой.

– Это «ле-фоше». Осторожнее. Он заряжен.

– Ваш? – спросил Клюгенау.

Сивицкий впервые оторвался от пасьянса и тускло поглядел в глаза прапорщика.

– Да, – ответил он со значением. – Мне его подарил покойный Никита Семенович.

Клюгенау придвинул к себе револьвер, удивился:

– Ого, какая редкость! Мельхиоровые пули.

– Да, да, – как-то виновато ухмыльнулся Сивицкий, – именно что мельхиоровые. Впрочем, смерть от этого не становится краше... Отодвиньте локоть, барон, вы мне мешаете!

– Ах, извините, капитан. Я нечаянно задел вашу даму.

Сивицкий вдруг неожиданно вспылил и, разворошив пасьянс, смахнул карты со стола.

– К черту все! – раздраженно сказал он. – Если бы вы не пришли сейчас, я сам пошел бы за вами.

Подслеповатые глаза барона глядели на врача испытывающе:

– Чем могу служить вам?

– Чем? – Сивицкий встал и, сунув руки в оттянутые карманы неряшливого сюртука, прошелся по тесной комнатенке. – Чем вы можете мне служить? – переспросил он. – А вот, слушайте...

...По уходе с отрядом в Араратские долины полковник Хвощинский оставил свою жену на попечении капитана Сивицкого. Как опытный офицер, он не был уверен в удачном исходе рекогносцировки и предвидел издали, что Баязету предстоит осада, снять которую будет нелегко. Что же мог поручить Никита Семенович своему старому другу накануне своей гибели?

– Мы тогда долго беседовали, – рассказывал Сивицкий, не глядя на прапорщика. – Уже ночью... Вино было. Да. Но это не мешало. Я, конечно, не соглашался. И вот этот револьвер. Глупости! Я так и сказал ему – глупости! Но он был настойчив. Он видел дальше меня... Вы, барон, понимаете, здесь ее опоганят и продадут. Как мешок орехов. У них так и написано в Коране: женщина – как мешок орехов. И он боялся этого. Он не мог оставить ее так.

Клюгенау выглядел спокойным, только чаще моргал из-под очков.

– А вы? Что же вы? – спросил он.

– А что – я?.. Я говорил – нет, глупости... Ерунда! Он меня убедил. И взял... Я взял... вот это, – Сивицкий показал на револьвер. – Системы «ле-фоше». Семь камор. Пули из мельхиора. Я ведь врач. И знаю, куда надо выстрелить. Хватит и одной. Наповал... Вы думаете, мне легко было дать ему слово?

– Не думаю.

– А тяжело-то вот стало только сейчас. Башибузуки режут за стенкой. Жуть!.. Ворвись они сюда, и я знаю, чем это все кончится. Мы тогда долго с ним говорили. Была только одна оговорка: «Если она согласится на это».

– И она... согласилась? – спросил Клюгенау.

– Кой черт! – вспыхнул врач. – Я еще не выжил из ума, чтобы спрашивать женщину об этом! Всю жизнь я лечил людей, но не убивал...

Сивицкий решительно передвинул револьвер через стол к прапорщику Клюгенау.

– Вот и все, – устало сказал он. – Вы, надеюсь, не откажете мне в этом. Я знаю, что ваше отношение к ней гораздо сложнее, чем многие думают. И вы сами не пожелаете, чтобы она попала в чьи-то грязные лапы!

Клюгенау передвинул револьвер от себя на середину стола. Теперь он лежал между ними, блестя вороненым дулом, почти красивый в своем железном безобразии ломаных линий.

– Вы... ошиблись, – заключил Клюгенау. – Моя рука не сильнее вашей. Я могу убить себя. Могу, наконец, убить и вас. Но выстрелить в женщину, которая стала для меня... Нет, господин капитан. Очевидно, вы измеряли мое благородство каким-то преувеличенным аршином!

Сивицкий медленно, почти с усилием произнес в ответ:

– Но я знаю силу вашего духа, барон... Вы не смеете отказать мне. Я перебрал всех людей в гарнизоне, кто был бы способен на это. Нет, только один вы не спасуете в нужный момент. Вы же ведь не поэт, а солдат, Клюгенау. Вы прирожденный солдат!..

– Нет, – снова повторил Клюгенау.

Сивицкий, сразу же поникнув плечами, опустил на стул.

– Боже мой, зачем же я тогда рассказал вам все это? Такое ведь не говорят никому... Просто я – старый дурак!

– Нет, – отчеканил Клюгенау, вставая.

Врач поднял лицо:

– А если я вас буду просить? Умолять буду? Поймите, что я не могу иначе...

– Нет. Не надо меня умолять, Dixi! – закончил барон по-латыни, и врач его понял.

Клюгенау ушел. Сивицкий вдруг скособочил толстый неопрятный рот, мятое лицо его вдруг по-старчески обмякло, и он с хрипом выдавил из себя первое рыдание. Потом, продол-

жая плакать, капитан добрался до своей постели, разбросал по комнате сюртук, шаровары и сапоги. Рыдания его были болезненны, почти мучительны, но врач был не в силах сдержаться и, задув фитиль, продолжал плакать в темноте.

– Проклятая судьба! – бормотал он, вспоминая все неудачи своей неуютной холостяцкой жизни. – Никакой радости... Хуже собаки! А тут еще и это...

Дверь открылась, и кто-то вошел к нему.

– Кто тут еще? – спросил врач. – Это ты, Ненюков?

– Нет, это я... Ключенау.

Сивицкий долго молчал в темноте.

– Что вам надо, барон?

Федор Петрович сказал:

– Видите ли, я как следует поразмыслил. Не вы – так я... Кому-то ведь надо. А вы, боюсь, не сможете сделать это. Но отдать женщину на поругание, это... хуже убийства! И вот я пришел сказать вам: дайте мне револьвер...

– Можете взять. Он там, на столе.

Ключенау долго шарил в потемках по столу, на ощупь отыскивая револьвер.

– Здесь полный барабан? – спросил он.

– Да, семь камор.

– Хорошо, я пойду. Спокойной ночи, капитан.

– Спасибо. Теперь я спокоен, барон.

## 8

Рано утром на всех минаретах города показались муэдзины. Взявшись руками за мочки ушей или подперев щеки, как это делают в горести русские бабы, муэдзины блаженно закрыли глаза и дико, но дружно затянули согласный мотив:

– Ля-иллаха-илля аллаху вэ Мухаммед расуль аллахи! – В этом чудовищном вопле слышалось что-то свирепое и грозное, словно призыв к страшному злодеянию...

Турецкие стражники разложили коврики-седжадэ и тут же, стоя на карауле, начали творить священную молитву.

Нищие на майдане оставили азартную ловлю паразитов на своих лохмотьях (которую предусмотрительный аллах предписал правоверным наряду с омовением) и тоже согнулись в молитве, словно тараканы в смрадных щелях кузниц, и раскаленное железо будущих ятаганов медленно потухало на наковальнях. Одни только мусульманские жены остались без дела, всемогущий аллах не дал женщине приличного места даже на том свете, где живут ее соперницы – сладострастные гурии...

– Несите мне воду, – повелел Фаик-паша.

В круглой серебряной чаше, на дне которой плавал кусочек мыла, паша сполоснул себе руки. Верный негр-саис надушил ему бороду. Чубукчи-трубконосец подал кальян и накинул на плечи военачальника розовый атласный халат. Наряд Фаик-паши довершила чалма зеленого цвета, выдававшая в нем прямого потомка Магомета.

– Несите мне еду, – велел он.

В рамазан воспрещено есть и курить, пока можно отличить белую нитку от черной. Но на войне и в путешествии пророк все это позволяет, и потому суп следовал за вареньем, жаркое за хурушами, паша лил в шербет вино, около сорока блюд сменяли одно другое. И едва Фаик-паша брал щепотку, как кушанье тотчас же убиралось, освобождая место для нового блюда. Если бы Фаик-паша читал Сервантеса, он бы, наверное, припомнил подобную смену блюд из обеда Санчо Пансы на острове Биратария.

– Зовите чтеца! – повелел Фаик-паша, сочно рыгая от пресыщения.

Чтец с поклонами и завываниями читал ему письмо от кизляр-агы. Сначала в письме шла речь о главном – о женах. Старший евнух сообщал повелителю, что у Пирджан-ханум на восемь дней была задержка месячных, а «звезда сераля», маленькая Сюйда, все эти дни играет в мячик. Далее в письме шла речь о пустяках – о смерти старой жены, о пожаре в имении, о драке крестьян...

– Довольно! – остановил чтеца Фаик-паша. – Это неинтересно!

С улицы, через резные жалюзи окон, донеслась задорная музыка – это внутри крепости гарнизонный оркестр встречал боевой день увертюрой к опере «Риголетто». И, дивясь непривычной для азиатского слуха мелодии, Фаик-паша в злости велел закрыть окна.

– Гяуры, – сказал он, млея от сытости, – потеряли остатки разума. Пацевич-паша глупее женщины. О-о, великий аллах! Ты рассудил выронить его из-под хвоста собаки, чтобы доставить сегодня мне радость, подарив нам его глупую голову. Так выносите же – эй, слуги! – бунчуки на улицы. Сегодня к полудню я не стану сдерживать гнев моих барсов...

Фаик-паша развернул перед собой глянцеви́тый листок бумаги. Старый ленивец, он уставал даже от ожидания и сейчас решил развлечь себя до полудня забавной игрой в слова. Из-под его пера выбегали ровные строчки стихов, посвященные самой маленькой из всех его жен, девятилетней Сюйде, которая в разлуке знает только одну забаву – играть в мячик. Стихи начинались так:

Когда подпрыгиваешь ты за мячиком,  
Все члены твоего тельца напрягаются,  
И я вижу, как светятся прозрачные косточки.  
О перл души моей, венчик страсти,  
Подпрыгни за мячиком, но поймай мое сердце...

Его вдохновение было прервано приходом старейшин с шейхами.

– Конница Кази-Магомы вернулась от Деадина и раскинула свой табор у Зангезура, – доложили ему. – Воины накормлены и теперь готовы перегрызть ржавое железо. Только прикажи, великий паша, и мы прольем кровь неверных, как воду.

Фаик-паша хлопнул в ладоши.

– Сегодня в полдень, – сказал он. – Можете идти. Я уже вынес бунчуки на улицу...

.....

Хаджи-Джамал-бек гулял... Для начала он зашел в караван-сарай и за несколько пиастров до одури накурился гашиша. Ему стало весело, и он сосчитал оставшиеся деньги. Хвоцинский платил лазутчику хорошо, рассчитываясь сразу же чистым золотом. Новый же хозяин, полковник Пацевич, выдавал вместо денег какие-то бумажки. Напрасно черкес убеждал его, что он еще с молоком матери всосал любовь к русским и готов продать себя за десять динаров от восхода солнца до заката. Нет, полковник писал лазутчику расписки: «Сего дня, получив непроверенные сведения от тифлисского мещанина Хаджи-Джамал-бека, я заверяю настоящим, что он...»

Лазутчик вышел из караван-сарая и побрел по узкой улице, громко распевая:

Бабка старая в лягушку превратилась  
И на дно она речное опустилась.  
Золотой она песочек собирала,  
Ей там щука три икринки продавала...

На майдане Хаджи-Джамал-бек решил купить новую саблю.

– Лучше этой, – показал лазутчик на старую, висевшую у бедра, и стукнул по ладони мешочком с монетами.

Торговец оружием, медлительный и красивый перс с бородой ярко-красного цвета, величественно повел рукою вокруг себя, предлагая осмотреться. Выбор орудий убийства был в его лавке богатый: висели алебарды с лезвиями в виде полумесяца, широкие зубья ятаганов мрачно мерцали в углу; специально для пыток были выставлены на продажу уродливые щипцы с крючьями.

– Буюр (изволь)! – сказал перс, снимая со стены тонкую и гибкую, как ивовый прут, саблю дамасской стали.

Хаджи-Джамал-бек скинул с правого плеча куртку, велел народу посторониться и свистнул саблей сверху вниз и направо. Тоненько пропел в ответ рассеченный воздух, и тогда лазутчик поднял с земли ржавый гвоздь и положил его перед собою на доску.

– Я проверю еще и закалку, – сказал он.

– Зачем не веришь мне? – вроде обиделся лавочник. – Можно не верить женщине, моряку и пьянице: женщина – обманет, моряк – потонет, а пьяница – ничего не помнит. Я в шербет добавляю вина всего три капли. Я не выжил еще из ума, чтобы пускаться в плаванье. И, наконец, я, слава аллаху, не женщина. Скажи, найдется ли у тебя восемь динаров, когда этот гвоздь разорвется пополам, едва ты коснешься его благородным лезвием?

Хаджи-Джамал-бек с размаху опустил клинок, и две половинки гвоздя разлетелись в разные стороны.

– Пять динаров, – сказал лазутчик и купил себе саблю.

И со дна речного бабка воротилась,  
Вся деревня на блудницу подивилась...

Острие пики уперлось прямо в грудь Хаджи-Джамал-бека, и лазутчик увидел перед собой богатого всадника, который кольнул его пикой.

– Не ты ли, – сказал всадник, – не ты ли, грязная собака, сидел недавно в Тифлисе и продавал на улице чихиртму и хаши?.. Я тебя узнаю, шакал, перебежавший к гяурам, чтобы лакомиться их объедками!

Острие пики рвануло рубаху лазутчика, пролетело куда-то мимо и снова отскочило назад, готовое для последнего удара. Хаджи-Джамал-бек перехватил пику рукой, закричал на курда:

– Зачем не говоришь, а блюешь словами. Спроси любого, и тебе скажут, где я провел эту ночь. Ты сам, вонючий шакал, валялся на кошмах под звездами, а я нежился в шатре твоего всемогущего шейха Джелал-Эддина. Убери свою пику!..

Его отпустили, и он пошел далее. А вокруг кишел богатствами майдан. Все, что было накоплено поколениями армян и евреев, сейчас переходило из рук в руки, менялось и просто отбиралось сильным у более слабого. Шныряли в толпе быстрые курды, плясали за деньги наемные «мутрибы» из цыган, и тут же местный кадий, вооружившись молотком, приколачивал большими гвоздями за уши к столбу какого-то купца, нечестно продавшего свой товар. Купец истошно орал, кадий деловито стучал молотком, из ушей купца текла кровь...

В сопровождении толмача и телохранителей здесь же блуждали, посматривая на этот вавилон, английские корреспонденты, приценивались к коврам – хамаданским, ардебильским, хорасанским. Шлепали по грязи местные жены с кувшинами на плечах, удерживая зубами концы прозрачных яшмаков. А немного поодаль стояли «тайные» – продажные красотки, от французенок до негритянок, и лица их были блудливо открыты, руки затянуты в желтую лайку, на запястьях сверкали браслеты. С призывным треском они закрывали и вновь распахивали громадные веера из цветных перьев. И порою какой-нибудь турок велел своей жене подождать

его, пока он удалялся с одной из «тайных», и жена его, навьюченная покупками, покорно ждала своего повелителя.

В самой гуще майданной толкотни Хаджи-Джамал-бек встретил своего знакомого по Владикавказу – кривого узденя, что бежал из Осетии вместе с генералом Кундуховым.

– День добрый, Хаджи!

– Скажи это вечером, Гиго!

Одноглазый узденя был занят: широким топором рубил на «жеребья» свинцовые и медные прутья, смахивая насеченные пули в мешок, продавал их на три меры – горстями, широкой пиалой и, наконец, своей шапкой. Этот страшный товар шел у него ходко – время военное, стрелять каждому надобно, а «жеребья» стоили намного дешевле патронных пуль.

– Руби помельче, Гиго.

– Ходи осторожней, Хаджи.

Хаджи-Джамал-бек отправился в сторону крепости. Подойдя к турецкому караулу, он высыпал на ладонь остатки монет из кисета и отдал их офицеру. Тот молча спрятал деньги себе за пояс, и в лазутчика, пока он пробирался в цитадель, никто не выстрелил.

Первым делом он пошел в клетушку Исмаил-хана Нахичеванского.

– Сегодня в полдень, – сказал лазутчик, показывая на свое отрубленное ухо. – Хотя ты и не стоишь того, но я узнал точно: тебя не тронут, так говорят...

В ответ ему только блестела гладко выбритая голова хана.

## 9

С первым же выстрелом, означавшим наступление дня, Штоквиц выгнал музыкантов на двор, велел играть только веселое. Заревели полковые трубы, бодрыми голосами откликнулись на их призыв флейты, кожа на барабанах за эти дни высохла – они бубнили свою тревогу настойчиво и гулко: «будь-будь, будь-будь!».

Воды в это утро гарнизон не получил вовсе, и в горле музыкантов скребло и саднило от горькой пыли. Кислые мундштуки инструментов прикипали к воспаленным губам. Штоквиц не давал лениться, требуя звуков веселых и чистых. Комендант не мог дать воды гарнизону – он заменял насущную потребность тела музыкой, которая взлетала из осажденной крепости прямо в желтое от солнца и пыли небо. Худенький капельмейстер выстоял полчаса на адской жаре и, не закрывая глаз, рухнул на землю в глубоком обмороке. Шальная пуля уложила наповал трубача, а барабаны все били, а флейты поддакивали им:

– Будь-будь... все-все!.. Будь-будь...

Стрельба усилилась. С переднего фаса было видно, как из долины Балык-чая тащились в город свежие таборы. Топорщились пиками отряды всадников, качались на горбах верблюдов жены, черные шатры теперь уже густо опоясывали осажденную цитадель. Подоспевшие племена тут же расхватывали оружие и, едва успев осмотреться, спешили под стены Баязета, чтобы хоть одну пулю да выпустить в проклятых гяуров.

– Нехороший день будет, – сказал Ватнин, поглядев зачем-то на небо. – Берегите себя для службы, казаки!

Он зашагал, скользя по свинцовой крыше, к лестнице.

– Ты куда, сотник? – окликнул его Трехжонный.

– Куды? – остановился есаул и вдруг весело подмигнул хитрым глазом: – А вот самовар побегу для вас ставить. Чаю охота!..

Назар Минаевич спустился вниз, среди навала вещей и телег пробрался в темный закуток мечети, где поселился гарнизонный священник. Отец Герасим, еще не одетый, в одном исподнем, поджав под себя босые ноги, сидел на раскрытой постели, читал «Трех мушкетеров».

– А я жду, – сказал он. – Дверь прикрой, чтобы никакой бес не заскочил ненароком.

Отец Герасим прикинуться дурачком любил и делал это даже со вкусом, но перед Ватниным ему дуричь было незачем, они сразу как-то раскусили друг друга.

– Посуду расставь, – сказал отец Герасим и, нагнувшись, достал из-под кровати большую мутную бутылку с водкой.

– По малости лей, – опередил его Ватнин. – Сегодня, чую, день будет ответственный. Хмель не должен во вред делу идти. Вот и хватит мне, батька. Тепереча себе лей.

Они сдвинули стаканы:

– За Пацевича! Чтоб он...

– ...сдох, – подхватил священник, – и освободил нас, грешных, от разума своего!

Выпили. Утерлись. Поморщились.

– Ух, – сказал Ватнин, мотая бородищей.

– Заесть-то нечем, – ответил отец Герасим. – Довоевались, мать их всех... растуды-то. Начальнички, называется!

– Ну, ин ладно. Спасибочко! – сказал Ватнин, поднимаясь. – Я пойду. Коли пострелять захошь, батька, так на мой фас подымайся. Я тебе добрый винторез сыщу.

Он переступил порог как раз в тот момент, когда турки начали обстрел цитадели из пушек. На пустом дворе колотились по камням султанские ядра. «Эх, дурни, прицела не сменяют», – выругал Ватнин турок. И тут, в грохоте стрельбы и свисте пуль, люди гарнизона снова вступили в странную игру с Пацевичем. Все уже давно хотели от него избавления, и стоило только вблизи от полковника лопнуть вражескому ядру, как отовсюду начинали кричать:

– Ваше высокоблагородие, да вы никак ранены? Санитары, куда смотрите? Полковника подбирайте...

Трудно сказать – по своей ли воле, но только Сивицкий<sup>4</sup> тоже принял участие в этой охоте на полковника и навесил его как бы от искреннего участия.

– Я слышал, что вас задело? – спросил он.

– Да нет, – отмахнулся Пацевич. – Вчера немножко обожгло, пардон, самую задницу. Вот и все...

– Снимите-ка... Посмотрим, – велел ему капитан.

Пацевич неохотно расстегнул штаны.

– Оставили бы вы меня, – сказал он. – На что я вам? Ну, убьют так убьют...

Сивицкий вроде удивился:

– Да у вас сильная контузия! Все посинело даже. Как хотите, а я – на правах старшего врача – настаиваю на вашем пребывании в госпитале. И немедленно!

Пацевич застегивал пуговицы.

– Зачем вы издеваетесь надо мной? – вдруг отчетливо сказал он. – Ведь я-то хорошо знаю, что у меня нет никакой контузии. Вам просто надо, чтобы я избавил вас от своей неприятной особы. Так ведь?

Сивицкий посмотрел на его дрожащие пальцы.

– Но, господин полковник, – возразил он, – вы же никак не можете видеть, что у вас творится сзади!

Пацевич грустно улыбнулся:

– Выходит, что вы тоже считаете меня дураком. Только у меня хватило ума, и в зеркало все хорошо видно, что творится у меня сзади. Не надо меня шантажировать. Тифлис назначил меня командиром гарнизона – Тифлис меня и снимет, если я окажусь непригоден.

---

<sup>4</sup> Подобная же трагикомедия была разыграна в последних числах мая 1854 года под Силистрией, когда армии нужно было избавиться от бездарного командования графа Эриванского, Сивицкий мог хорошо знать об этом от доктора Павлуцкого, который оставил записки о фиктивном ранении Паскевича, что в данном случае и объясняет поведение Александра Борисовича.

Когда доктор ушел, Пацевич долго сидел, о чем-то тяжело соображая. Было ему гораздо не по себе. «Издеваются, сволочи!» – лениво выругался он и кликнул своего денщика. Парень моментально вырос в дверях, красуясь здоровенным синяком под глазом.

– Чего изволите?

– Почему утром не зашел? – спросил его Пацевич.

– Я думал, вы спите ишо.

Пацевич возмутился:

– Офицеры не спят, а отдыхают. Это вы, быдло, храпите там, где вас положат. А я – отдыхаю... Синеву-то тебе, скобарю, кто под глазом навел?

– Да это вы-с, Адам Платонович, – обиделся денщик. – Выпимши были. Потому и не помните.

Полковник сумрачно отвернулся.

– Сходи, – сказал он тихо, – к Исмаил-хану сходи... Пускай он бутылку нальет... У него, я знаю, еще имеется.

В ожидании денщика командир гарнизона переменял чехол на фуражке. Поплевав на козырек, протер его до блеска рукавом сюртука. Шашку он отцепил, зашвырнув ее в угол. Вместо нее привесил к поясу револьвер.

– Чего бы еще? – рассеянно огляделся он.

Тут денщик поставил перед ним бутылку с вином. Пацевич выгнал из стакана зеленую муху. И тягучий густой чихирь скоро весь, до последней капли, перекачался из бутылки в нутро полковника. Пацевич повеселел, но ему, как бывалому пьянице, казалось, что для полного счастья не хватает еще чуть-чуть. Стакана даже не надо, пожалуй. Но вот полстаканчика он бы выпил с удовольствием. С таким-то настроением он и навестил хана.

– Премного обяжете, сиятельный хан, – сказал он, – если дадите мне еще разочек чихирнуть! Уж не сердитесь на старика, но сами понимаете... Да нет, куда вы! Хватит. Мне бы только чуть-чуть. Это, кажется, кукурузная водка?

– Арака, – ответил хан.

– Ну, что ж. Вода, как сказал великий писатель Марлинский, существует для рыб и раков, вино – для детей и женщин, а водка – для мужей и воинов. Ваше здоровье, хан!

«Муж и воин» почувствовал, как арака, мутная и теплая, двинула сначала куда-то в нос, перешибла дыхание, потом толчком ударила в голову.

– Крепка! – сказал Пацевич.

Он прошел под арку вторых ворот. Прислонился к стенке, чтобы не выдавать своего хмеля. Говорил он вполне благоразумно, и человеку, который мало его знал, полковник казался бы даже абсолютно трезвым. Тут он встретился с Хаджи-Джамал-беком, подробно спросил его о городских событиях и сплетнях.

– Какой же Фаик-паша предлагает нам квартал, если мы согласимся на сдачу?

– За рекой, сердар. Где армянин жил.

– Ну, это ты чепуху городишь, кацо.

Вскоре под аркою собрались офицеры. Штоквиц, Карабанов, Клюгенау и Евдокимов. Разговор поначалу шел больше о мелочах. О том, как изменился солдат после реформы, о том, что на Востоке едят много сладкого, а зубы у всех хорошие. Говорили, причем как-то лениво и не совсем умно, – все как бы отупели за эти дни.

И вдруг – разом – трах, трах: полетели обрушенные камни; «жеребья», стуча по бульжнику, запрыгали, словно кузнечики. Сипенье буйволовых рогов, тупые удары ядер о стены, осыпи штукатурки и тучи песку, поднятого взрывами, – все это вдруг закружилось в невообразимом хаосе, в котором человек казался жалким и обреченным.

– Боже мой! – выкрикнул Пацевич, кидаясь в глубину арки. – Господи, идите сюда...

Бледный солдатик с рассеченной щекой вскочил под укрытие, заплясал на одной ноге, тут же раненный пулей:

– Ай-ай-ай... Хосподи, сила валит! Ваши благородья, ай-ай... тикать надоть!

Штоквиц с размаху приклепнул солдата спиной к стенке, сунул ему под нос крепкий кулак.

– А ну, не дури! – крикнул он. – Что там? Турки? Много?

– *Тьма*, – ответил солдат.

Штоквиц рискнул добежать до ближайшей амбразуры и вернулся обратно, потрясенный.

– Господа, – сказал он, – надо что-то решать. Вы отсюда не можете видеть, что это за зрелище. Ясно одно – турки решились на штурм...

.....

Здесь мы остановимся, чтобы передоверить слово исследователю, который пишет об этом моменте буквально следующее:

...Офицеры, спокойно сидевшие до этой минуты под аркой вторых ворот, при внезапно грянувшем потрясающем грохоте и ударах снарядов были озадачены не менее других; тревожно обменялись они мыслями и в течение десяти-пятнадцати секунд постановили какое-то решение...

Исследователь тут же делает примечание, весьма существенное для нас, – он прямо заявляет:

Что говорено было в этот важный для начальников момент – я узнать не мог...

И если этого вопроса не мог разрешить исследователь, встречавшийся еще с живыми участниками славного баязетского «сидения», то мы тоже не станем фантазировать. Для нас сейчас важно одно – именно отсюда, из-под арки вторых ворот, где стояли Пацевич и Штоквиц, вдруг разнеслась команда:

– *Не стрелять!*..

Эту команду передали по казематам:

– Прекратить стрельбу! Не отвечать на огонь!..

– Сему не верить! – крикнул Ватнин. – Продолжай бить, станишные...

И тут он заметил солдата, который вылез на крышу фаса, а на погнутом штыке его винтовки болталась белая тряпка.

– А ты куда лезешь, зараза? – спросил его сотник.

– Вот, – ответил солдат, показывая на тряпку. – Мое дело служивое. Мне так велено.

– Кем велено?

– Его высокоблагородие... господин Пацевич приказали!

## 10

...М. И. Семевский, издатель многотомного журнала «Русская старина», в самый разгар кавалерийских маневров под Красным Селом узнал из «Биржевых ведомостей», что в числе войсковых старшин, представлявшихся вчера императору, был и подполковник Н. М. Ватнин. Не раз уже публикуя в своем журнале материалы о недавней русско-турецкой войне, Семевский пожелал встретиться с бывалым защитником Баязета и для того в один из жарких летних дней пригласил Назара Минаевича посетить его редакцию.

В назначенный час Семевский уже поджидал своего интересного гостя в доме Трута по Надеждинской улице: лакею было велено подать к приходу Ватнина чай, секретарь был подготовлен для записи рассказа. Ватнин явился в редакцию, одетый в казачий мундир с эполетами, скромно сел на предложенное кресло и поставил меж колен свою гигантскую шашку.

Предложив гостю чаю, издатель весьма умело завел нужный ему разговор, во время которого поставил прямой вопрос:

– Уважаемый Назар Минаевич, нашей редакции до сих пор не совсем ясен вот этот щекотливый момент в осаде Баязета, когда Пацевич хотел сдать гарнизон на съедение туркам. Расскажите, пожалуйста, поподробнее.

Ватнин отхлебнул чаю, крохотное печеньеце рассыпалось в его корявых пальцах, и он, застыдившись своей неловкости, больше ни к чему на столе не притрагивался.

– А было это, господа сочинители, – начал он, избегая смотреть на залежи книжной учености, – было это девятого... Да, кажись, не вру. Именно – девятого июня тысяча восемьсот семьдесят седьмого года.

Семевский кивнул секретарю, и тот, тихой мышью пристроившись за могучей спиной защитника Баязета, начал прилежно строчить перышком.

– Иду это я, – говорил Ватнин басом, показывая, как он идет, – держу путь от левого фаса. А навстречь меня солдат прется, и на штыке тряпка болтается. Я его, конешным делом, пытаю по всей строгости: куда, мол, лезешь, хвороба, и зачем у тебя на штыке тряпка белая?.. Кхе-кхе, вы уж не сердчайте на меня, господа сочинители, ежели я какое слово не так скажу.

– Ради бога, – остановил его Семевский. – Я сам шесть лет отслужил в лейб-гвардии Павловском и далеко не святой в разговоре.

– Ну, ин ладно! – приободрился Ватнин, но тут услышал скрип пера и обернулся к секретарю: – Никак это мою говорю записывают?

Да, рассказ сотника был записан и выглядел в этой приглаженной стенограмме несколько иначе. «...Не доверяя словам солдата, – говорилось в записях, – я приказал ему удалиться и доложить Пацевичу, что нет крайности, вызывающей сдачу крепости на милость врага. После этого солдат ушел в средние ворота, и там вскоре раздалось новое приказание:

– Развернуть простыню!..»

Ватнин – человек скромный, и невольно, чтобы не рисоваться, стушевал всю напряженность обстановки. На основании же других документов, события разворачивались совсем не спокойно – в суматошной, почти панической стихийности этих событий было что-то ужасное, предательски черное.

.....

– Кем велено? – спросил Ватнин.

– Его высокоблагородие... господин Пацевич приказали!

– А ну, брысь отседова! – заорал есаул и ударом кулака отправил посланца с крыши на лестницу. – Передай им всем, паскудам, – крикнул он вдогонку, – нам и дня не хватит, чтобы отбиться!..

Уши казаков разрывало от вражьего гвалта, в котором имя аллаха чередовалось с отборной бранью. Казачья кровь выбегала из-под убитых и раненых, сочилась по круто наклонной крыше. Ватнин едва не упал с карниза, поскользнувшись; чья-то винтовка, дребезжа раскрытым затвором, покатила мимо него в крутизну.

– Пропадешь, сотник! – крикнул Дениска, и есаул прилег под пулями, дополз до среза фаса, примостился поудобнее, чтобы все видеть вокруг.

– Мати моя дорогая! – невольно ахнул есаул. – Такого-то и батька мой, наверное, не видывал!..

Даже нервы Ватнина – уж на что они были крепкие! – трянуло как следует, когда он осмотрелся вокруг. На соседнем кладбище кишели среди могильных столбов тюрбаны воинственных кочевников. Враги лезли по горе из зловонных развалин Нижнего города и, экономя порох, пока еще не стреляли. Через речку же толпами валили редифы и, шумно разбрызгивая воду, замутили течение реки на целую версту.

– Я не вижу белого флага! – сказал Пацевич. – Какой бедлам... Что хоть творится там, кто мне ответит?

Тихо подвывая от собственного бессилия, Пацевич вбежал в прохладную мечеть, коротко глянул на густую лавину врага и сразу же в испуге выскочил обратно на двор.

– Я кому сказал – не стрелять! – заорал он на солдат, прикивших к бойницам. – Господа офицеры, вот плоды вашего безделья! Прекратите эту дурацкую стрельбу! Сейчас же... Карабанов, вы меня слышите?

Андрей стоял в полной растерянности – все казалось ему бредом, дурным сном. Его кружило в каком-то вихре, и мелькали перед ним оружие лица солдат и казаков, лошадиные морды и знамена: один стрелял, другой закапывал винтовку.

– Карабанов, – настойчиво повторил Пацевич, – не стойте как пень... Вы же смелый человек!

На этот раз подействовало. Андрей встряхнулся от осевшей на плечах пыли и кусков штукатурки, вдруг злобно рявкнул на Пацевича, как на собачонку:

– Что вам еще от меня надобно? Я никуда не пойду... И пусть меня рубят на сто кусков, но я не предатель!..

– Ты это мне, подлец?..

Такого лица у Пацевича еще никто не видел: брови его, как две густые ширмы, опустились книзу и почти закрыли ему глаза. Полковник пригнулся – нащупал рукою тяжелый ноздреватый булыжник.

– Это мне-то? – снова просипел он, надвигаясь на поручика. – Мне?.. Ах ты, гвардейская потаскуха! Ты говоришь это мне... мне, который расхлебывается сейчас за все ваше распутство!

Карабанов отскочил в сторону:

– Бросьте камень!

Хаджи-Джамал-бек перехватил руку полковника.

– Не надо быть женщиной, – сказал он. – Турки будут стрелять, сердар, потому что солдат не слушался тебя: видишь – флага-то нет!

Адам Платонович выпустил камень из пальцев.

– Ты-то мне и нужен как раз, – ответил он, задыхаясь. – Они все переврут, сделают не так, а ты сможешь... Беги на стенку... Беги наверх и скажи туркам: если они выпустят нас из крепости со знаменами и оружием, мы согласны отдать им весь город. Пусть он сгорит. А мы уйдем... Уйдем отсюда к черту! Слышишь?

На дворе цитадели появилась плачущая Аглая – ее сразу же затолкали, закружили в столпотворении бессмысленной толкотни.

– Братцы, – слышалось вокруг, – куды нам?

– Говорят, на построение!

– А турка-то не помилует!

– Предали!..

Хвоцинская простерла вперед руки.

– Стойте... да стойте же вы! Боже мой, ради чего? – крикнула она в гнев. – Опомнитесь, люди! Ведь столько было уже жертв... И все это отдать теперь даром? – Она подняла с земли брошенную кем-то винтовку, насильно всучила ее в руки молодого солдата: – Стыдись! Стыдись, что я должна просить тебя об этом. Я-то ведь не умею стрелять – я женщина...

Карабанов отыскал в суматохе своего денщика татарина Тяпаева, который уже седлал для него Лорда, и потащил его за собой.

– Никому не верю теперь, – сказал поручик. – Ты, парень, слушай, что Хаджи-бек сейчас орать будет... Мне передай... А не так передашь, так я тебя, косоногого, тут и похороню!

Хаджи-Джамал-бек уже взобрался на стенку фаса и, махая руками, орал в галдящую толпу, чтобы его выслушали. Лазутчик не сразу добился тишины, но в него не было сделано ни единого выстрела.

– Мюждэ! Мюждэ! – радостно сообщил он.

Вслед за словами Хаджи-Джамал-бека в толпе осаждающих послышался ликующий рев.

– Что он сказал? – спросил Карабанов.

– Урусы, кричат, сдаются. Урус драться устал, домой хочет идти... Сейчас, говорит, вам Пацевич-паша ворота открывать станет.

Из толпы выскочил здоровенный гигант кузнец – в парчовой рубахе, со знаменем в руках. Засучив рукава и подняв над собой лезвие джерида, он заорал что-то в ответ, и Карабанов заметил, как в страхе отшатнулся его денщик-татарин, – понял.

– Слова его кислые, – перевел он поручику. – Мы их в крепость пускай, а они резать нас будут. Головы, кузнец сказал, вон там будут в кучу складывать...

Карабанов достал револьвер, прицелился.

– Вот с этой головы мы и начнем! – сказал он, громыхнув выстрелом, и кузнец в красной рубахе покатился под откос, не выпуская джерида.

Тем временем Пацевич вломился в каземат, вдоль стен которого горбились потные спины солдат, бивших из ружей по туркам.

– Вы слышали приказ? Отставить стрельбу! – Полковник отдирает солдат от амбразур, выбивая у них из рук оружие.

Стрельба в каземате смолкла, и полковник кинулся на соседний двор, где солдаты, пристыженные Хвоцинской, снова покрывали турок дружными залпами. Враг уже плотно обступил цитадель, а напористые кочевники, невзирая на пули, ломались со стороны кладбища прямо в ворота.

– Ты куда лупишь, стервец? – остановился Пацевич перед ефрейтором Участкиным.

Тот повернул к нему грязное, испещренное потоками пота лицо, прохрипел:

– Не сдюжить... Так и прут, ваше высокобла...

Пацевич – хрясть ефрейтора в ухо, бац – во второе.

– Понял, болван, что значит приказ?

Он схватил у него винтовку, выбросил затвор.

– А еще ефрейтор! – сказал полковник. – Собирайся на выход, с хурдой вместе... Вели солдатам строиться!

Пацевич убежал. Ефрейтор поднял обезображенное оружие, плачуще обратился к солдатам:

– За што же он меня так?.. Или уж я солдат дурной? Пуцай я буду в ответе – пали, ребята! Пали его...

Пацевичу удалось водрузить только два белых флага – один над минаретом, другой над кухонной башней. Грязные тряпки, выставленные на позор гарнизона, противно разворачивались, хлопая на ветру, и турки, ободренные их видом, усилили свой натиск. Врагам помогало сейчас и то, что стрельба русских заметно слабела, быстро перемежаясь вдоль фасов: вот она утихла в этом углу (значит, Пацевич уже тут), потом вдруг усилилась снова (значит, Пацевич побежал в другой каземат).

– Лезут! – надрывался кто-то с высоты. – Помогайте мне, братцы... Лезут басурманы!

Несколько штурмовых крючьев, взлетев на веревках, царапнули уже по оконным карнизам. Вой осаждающих усилился, окна цитадели, без единого стекла, словно заманивали их внутрь темных крепостных переходов.

На двор, пришпорив каурого жеребца, гоголем вылетел Исмаил-хан Нахичеванский.

– Сторонись, – покрикивал он, – дай проехать...

Куда он собирался ехать – никто не знал (и уж, конечно, никто его об этом не спрашивал). Лошадиная морда обожгла затылок Пацевича жарким дыханием, и полковник перехватил ее за поводья.

– Голубчик, – сказал он хану, – ваши лоботрясы околачиваются без дела... Велите им открывать ворота. Действуйте своей властью. Пусть разбивают телеги и отворачивают камни. Выручайте, голубчик хан, а я наведу порядок...

И полковник опять заметался по крепости. Мокрый от возбуждения, сюртук разодран, один угол его рта слюняво отвис на сторону. А глаза уже сделались бешеными, зрачки их купались в какой-то противной мути, и многие теперь стали бояться Пацевича: кутерьма вокруг стояла страшная, прихлопнет он тебя в суматохе из своего «семейного бульдога», разбирайся потом – за что...

– Где Штоквиц? – орал полковник и заталкивал солдат в колонну, которая тут же рассывалась, стоило ему отвернуться. – У-у, старый хапуга, в кусты улизнул... Все берегут свои шкуры, жалкие подонки! Один я расплачиваюсь за всех... Разыщите мне Штоквица – живого или мертвого!..

Господин комендант, конечно, слышал эти вопли по своему адресу, но решил переждать опасный момент в своей карьере. Сейчас его больше устраивало общество любимого котенка, только не Пацевича.

Капитан толкнул двери. В его комнате, ощерив зубы и выставив кинжал, уже стоял щуплый арабистанец в бурнусе, а в окне виднелся зад редифа. Трах! – выстрелил Штоквиц, и снова: трах! – прямо по турецким шальварам... Раненый турок, застряв в окне, брыкался ногами. Штоквиц втянул его в комнату и ударами железных кулаков забил врага насмерть.

– Совсем сдурели эти господа турки, – сказал комендант, сбрасывая с карниза окна штурмовые крючья.

Отца Герасима начало штурма застало еще не одетым. Почуввав неладное, батька наспех хлебнул для смелости водки, в одном исподнем выскочил во двор, успев нацепить на шею один только крест. Этот крест у него висел на перевязи георгиевской ленты, полученной им за участие в атаке под Балаклавой.

– Чего крутитесь, – увещевал он бестолковых солдат. – Ты не крутись мне, будто плевков на сковородке. А то я тебе и в рожу могу заехать. Ты не гляди, что я в святости пребываю. Надо будет – и согрешу...

Голос его глушил грохот камней, которые милиция отваливала от ворот крепости. И этот грохот казался многим страшнее разрывов ядер; старый гренадер Хренов даже заплакал, бормоча сквозь рыдания:

– Што же это будет-то, а? Ишо с Ляксей Петровичем<sup>5</sup> да с Башкевичем-Ариванским походы ломали. И николи такого срама не было, как севодни. Продают нас, сыночки родима-и... за чихирь сладкий да за баб ласковых продают всех. Окорначат нас бритвою и перехрестят в ихнюю поганую веру!..

Весть о том, что милиция открывает ворота, уже облетела закоулки цитадели, и тогда началась полная неразбериха. Солдат Потемкин, прижимая к себе турчанку-найденъша, собирал у мечети смельчаков, уговаривая их пробиться через Нижний город – среди развалин саклей.

– Не робей, братцы мои, – убеждал он солдат. – Дело тут таково не рисковое, что из десяти хоть один да живым вырвется.

Среди солдат бродила, как тень, Аглая Хвощинская: она едва ли понимала, что происходит.

---

<sup>5</sup> Старый кавалер имеет в виду здесь известного кавказского генерала Алексея Петровича Ермолова.

– Не слушайте, солдаты! – взывала она. – Вас обманывают... Не надо сдаваться! Вы же ведь — *русские* люди!

Пацевич придержал ее за локоть:

– Кто здесь командует, сударыня? Вы или я?

– А я не командую... Я прошу, умоляю... Ради тех жертв, что уже были...

– А ну – вон отсюда, истеричка! – гаркнул на нее Адам Платонович.

И прапорщик Клюгенау все это видел и слышал. Спорить он не желал. Сейчас барон, словно равнодушный ко всему, что творилось вокруг него, стоял перед пляшущим на арабчаке Исмаил-ханом Нахичеванским и говорил:

– Чудесная лошадь у вас, хан. Вы далеко на ней ускачете, если откроют сейчас ворота.

– Завидуешь? – И хан гладил коня по холке.

– Нет, хан... Но если ворота откроют, – знаете ли вы, в кого я пушу первую пулю?

– Наверное, в себя, – догадался Исмаил-хан.

– Ошибаетесь, хан. В себя я пушу *третью*... Впрочем, вы не стоите того, чтобы знать, кому предназначена вторая. А вот *первую-то* пулю я пушу прямо в ваш благородный лоб!

Хан вдруг рассмеялся – он принял слова прапорщика за милую шутку, и Клюгенау не стал разубеждать его в этом. Но это была не шутка. Клюгенау уже догадывался, что хан стоит того, чтобы ему досталась первая пуля...

## 11

– Алла, алла! – вскрикивали за стенами турки, и с каждым их криком в ворота цитадели грузно бухало что-то тяжелое. Евдокимов видел сверху, как враги, человек с полсотни, раскачивали на цепях громадное окованное железом бревно из старого дуба, и под каждым ударом тарана стонали и прогибались ворота крепости.

Ватнин подполз к юнкеру, прижал его голову к своей запыленной, пропахшей порохом бороде:

– Ну, целуй же... Целуй меня, сыночек. Крепче целуй, может, и не свидимся более! А ты не бойсь, – приговаривал он. – Страшно тебе – да? Ты меня придерживайся. Я мужик хитрушший – вместях-то не пропадем...

Есаул оттянул ногу в казацкой шароварине, вытянул из кармана щепотку табаку, стал вертеть сигарку, откусывая бумагу зубами.

– Вишь? – сказал он, кивая на двор, где суетился Пацевич. – Вишь, говорю, как старается-то? Только ни хрена у него, дурака, не получится... Эй, станишные! – гаркнул он. – Стреляй почаще!

Пацевич выбрался на крышу, где лежали казаки двух сотен – ватнинской и карабановской. Держа в руке «семейный бульдог», он велел сейчас же прекратить стрельбу, иначе...

– Иначе прихлопну каждого, как муху! – объявил он. – Каждого, кто осмелится мне перечить. Слышали, лампасники?

Убитые казаки лежали здесь же, на крыше, и были закрыты той самой простыней, которую Пацевич велел развернуть над передним фасом крепости.

– Есаул Ватнин, – сказал Пацевич, показывая на мертвецов, – вы ответите за эти жертвы перед военным прокурором в Тифлисе!

Ватнин так и подскочил:

– Чо? Я-то?

– Именно вы. Этих жертв не было бы, если бы вы, разгильдяи, слушались моих приказов.

Дениска Ожогин почти повис над карнизом. Отстрелянные гильзы высверкивали из-под затвора его винтовки. Казак старательно опустошал обойму, и на последнем патроне Пацевич тяжелым сапожищем наступил ему на мягкий зад:

– Перестань... Ты приказ слышал?

– Слышал, ваше высокоблагородие. Так ведь присяга-то мною дадена...

– Я тебе и присяга сейчас, и отец родной. Понял?

Трехжонный хмуро притянул к себе винтовку. Перезаряжая ее, он – будто нечаянно – наставил дуло на Пацевича.

– А в присяге-то, – намекнул он, опасно бледнея, – как сказано?... Ради Отечества пользы, коль нужда подопрет, так и батьку родного можно пришлепнуть...

– Убери винтовку! – крикнул Пацевич, отстраняясь. – Я тебя сейчас, паршивца...

Тут его остановил Ватнин:

– Казака не смей трогать!

– А тебе, мужику, больше всех надо? – Пацевич потряс «бульдогом» перед носом есаула. – Погоди, ты у меня в графы выслужишься... Граф коровий!

Ватнин глянул в черное очко револьвера и перевел взгляд на лицо полковника: губы Пацевича тряслись, глаза совсем растворились в какой-то желтизне. Да-а, сейчас ему сам черт не брат, такой застрелит...

– Немедленно, – шипел на него Пацевич, – вели головорезам своим прекратить стрельбу... По-хорошему говорю, есаул. Проникнись этим!

И, говоря так, Адам Платонович вдруг почувствовал, как прямо в живот ему мягко, почти ласково ткнулось дуло ватнинского револьвера.

– С крыши сбросим, – тихо сказал Ватнин. – А здесь высоко!.. Не пытайте судьбу, господин полковник. Сбросим и скажем потом, что сами кинулись. У нас порука круговая – никто не выдаст... А от присяги воинской мы не отступимся!

Пацевич обессиленно шагнул от есаула.

– Ты что? Ты что?.. Ну, – выговорил он, – стреляй в меня. Можешь убивать, старый душегуб!

И есаул крикнул радостно:

– Казаки, слышали? Полковник разрешает стрелять по туркам... Бей их, станишные! Руби их в песи, круши в хузары!

Передний фас Баязета снова зачастил пальбой, и полковник спустился – от греха подальше – на двор. «Черт с ними, с казачьем, – решил он машинально, – лишь бы скорее открыть ворота, чтобы уйти отсюда...» Во дворе Исмаил-хан Нахичеванский считал камни.

– ...Тридцать и восемь, – отваливали от ворот гранитную глыбу, – тридцать и девять... сорок... Так, одна телега есть, начинай другую!.. Сорок и еще один...

Сорок первый камень – громадный круглый валун, который вчера еще казался таким легким, – сейчас никак не подавался с места. Лица милиционеров посинели от натуги.

– Помогите же! – крикнул Исмаил-хан солдатам.

Никто не двинулся. Люди стояли понуро, ружья были поставлены в козлы. Но крепость еще оборонялась. Из каких-то лазеек, куда не знали как проникнуть офицеры, летели в противника меткие пули. Творилось нечто неслыханное в истории войн: над крепостью давно уже были выкинута белые флаги, но крепость и не думала сдаваться; наоборот, продолжала бой...

Штоквиц подошел к Пацевичу, нехотя козырнул:

– Гарнизон построен. Вы так велели.

– Пусть быстрее открывают ворота. Безумцы еще стреляют, но мы за них не в ответе... Господа, – строго обратился Пацевич к офицерам, – грех за лишнюю кровь пусть ляжет на ваши мундиры. Я умываю руку... Стоит мне отвернуться, как вы подстрекаете солдат на продолжение этой бойни... А тут еще этот бесноватый Никита Пустосвят, место которому в сумасшедшем доме! – Полковник показал на отца Герасима и закончил свою речь словами: – Я не ударю, – сказал он, – пальцем о палец, если этого попа турки будут резать даже на моих глазах...

Сивицкий появился в дверях госпиталя.

– А когда начнут резать моих раненых, – громко сказал врач, – то научите меня, пожалуйста, как надо ударять пальцем о палец! Вы, очевидно, это умеете...

– Раненых понесем, – сгоряча рассудил Штоквиц.

– Куда понесете? До первой же ямы?.. Нет уж, господа! Вы не вояки... И если не можете защитить нас, так подарите хотя бы нам свое оружие. Я остаюсь при госпитале, и мы будем драться... Прощайте!

Милиционеры наконец отодвинули сорок первый камень, побуждаемые торопиться напоминанием турок, – таран их теперь бухал в ворота где-то совсем рядом. Ездовые уже начали выводить лошадей из конюшен, впрягать их в обозные фургоны.

– Знамена вынесите на правый фланг, – распорядился Адам Платонович. – Те, кто почище, пусть переходят в переднюю шеренгу. Мы же не варвары, господа. А на выходе из крепости нас наверняка встретят английские корреспонденты. Может, даже будут фотографировать!

Карабанов расстегнул кобуру и достал револьвер.

– Глупость тоже имеет предел! – выкрикнул он.

Штоквиц подоспел в последнее мгновение, и пуля, направленная Карабановым себе в висок, улетела в небо.

– Уйди!.. Не мешай!..

Комендант с силой выкручивал револьвер из руки поручика.

– Решили сохранить благородство? – говорил он, злобно пыхтя. – Знаем мы эти дворянские штучки... Нет, милейший, не выйдет! Отвечать за свой позор будем вместе...

– Идиоты, – сказал обезоруженный Карабанов. – Вы все идиоты, и нет вам никакого оправдания!..

И тут случилось совсем непредвиденное – как раз такое, о чем генерал Безак забыл написать в своей «зелененькой книжечке». Решив, что крепость сейчас будет покинута, караульные, стоявшие возле праха Хвощинского, вынесли тело мертвого полковника из подземелья.

Это была картина не из приятных. Голова покойного свалилась набок, из-под опущенных век глаза его глядели на позор обреченного гарнизона – глядели вроде враждебно и тускло.

– Сторонись! – покрикивали носильщики. – Турки, братцы, и те его уважали... Вот мы его первого и вынесем в город. Он уже срама не чувствует...

– Предательство! – вдруг заголосил Участкин.

– Продали! – четко ответил Потемкин.

Штоквиц плечами раздвинул шеренгу.

– Поори еще мне, – грубо сказал он. – Стану я возиться с тобой, чтобы продавать дурака такого... Да и кому ты нужен со своей поросычей харей!

И в этот момент все услышали сухой трескучий грохот – майор Потресов вкатил на двор одно из своих орудий. Артиллеристы, налегая в лямки и хватаясь за спицы колес, стали молча, без объяснений, разворачивать пушку, нацеливая ее прямо в ворота.

Пацевич испуганно кинулся к Потресову:

– Что вы еще задумали, майор?

Николай Сергеевич взмахнул рукой:

– Орудие – к бою! Готовь картечи...

– Убирайтесь вон, Потресов, – гаркнул на майора Пацевич.

– Убирайтесь сами, – возразил Потресов спокойно. – И не мешайте мне умереть, как и подобает русскому офицеру.

Пацевич плюнул и отошел.

– Ну и подышайте, если вы все походили с ума!

– И умру! – ответил Потресов. – Но мое сумасшествие обойдется туркам дороже вашего благоразумия. Вы только распахнете ворота, как я сразу приму их на картечь... Ребята, направь станки. За-аряды – сбо-оку!

Карабанов, подойдя к майору, поцеловал его в плечо.

– Позвольте мне погибнуть с вами? – попросил он.

Майор пожал ему руку:

– Спасибо, поручик. Я это ценю... Будете подносить к орудию заряды!

Исмаил-хану Нахичеванскому такая игра с картечью совсем не нравилась: чего доброго, и отскочить не успеешь!

– А как же я? – спросил он.

Пацевич выгнул плечи (короткое раздумье – почти столбняк), затем плечи резко опустились – выход был найден.

– Вы не обращайтесь внимания, – утешил он хана. – Мы их свяжем! Торопитесь освободить ворота...

Потресов поднял над головой зажженный фитиль:

– Я могу помочь вам в этом позорном деле. Один только залп, и ворота полетят с петель... Смотрите!..

Сразу став белым, как полотно, артиллерист поднес фитиль к запальнику, но Штоквиц перехватил его руку:

– Не подгоняйте событий, майор... Вы же не мальчик!

.....

Солдаты – как знали: разбежались вовремя. Турки уже штурмовали стены. Началась горячая работа: отталкивать от стен штурмовые лестницы, на которых гроздьями повисли воюющие турки и курды. Навстречу им неслись – при падении – частокол задранных пик и острые зубья камней...

– Кипяточку бы! – жаловались бывалые.

А критический момент штурма уже наступил. Или – или. Сейчас или никогда. Пацевич тоже понял это. По сути дела, он один из всех осажденных был самым строгим исполнителем приказа, который родился в его же голове, и он приводил этот собственный приказ в исполнение с настойчивостью, какой от него даже никто не ожидал.

– Куда вы, полковник? – остановил его Штоквиц.

Пацевич махнул рукой, убегая:

– Не стоять же... Надо успокоить турок. Скажу им, что сейчас мы уже выходим из крепости!

Задыхаясь пылью, под сухое чирканье шальных пуль, соскребавших со стен известку, Адам Платонович снова поднялся на крышу, с которой его было хорошо видно даже издали.

Разводя над головой руками, чтобы привлечь внимание турок, полковник громко закричал:

– Тохта, тохта! Барыш – мир...

Погон на его плече вдруг вздыбился под ударом пули и отлетел за спину, держась на одной пуговице, Пацевич резко вскрикнул от боли и, опускаясь на колени, стал медленно поворачиваться.

Толпа турок признала в нем «Пацевич-пашу», и ликующий рев врага долго не утихал над городом.

– Алла-а... Алла-а! – кричали турки.

Но тут многие увидели, как вторая пуля ударила Пацевича под правую лопатку, и полковник медленно осел на крышу. К нему подбежал юнкер Евдокимов, стараясь оттащить полковника в сторону. Адам Платонович сознания не терял и вскоре, поднявшись на ноги, сам направился к лестнице.

Проходя мимо Ватнина, он сказал только:

– Я ранен. И, кажется, сильно... Теперь вы можете делать все, что хотите. Меня это уже не касается!

Эти слова Пацевича, первые после его ранения, переданы автором дословно – в такой именно форме они и дошли до нас. А разрешение делать «все, что хотите» сразу развязало руки баязетскому гарнизону...

## 12

Белые флаги тут же сорвали. Будто живительный ветер пробежал по фасам и казематам. Снова окутываясь дымом, цитадель вдруг заговорила в полную мощь своей силы – огнем и смехом, пальбой и свистом, руганью и пулями, ракетами и воплями.

– На стены, братцы! Бей их...

Клюгенау спокойно пронаблюдал, как Пацевича спустили с крыши, и, странно хмыкнув, барон спрятал «ле-фоше» в карман. Не спеша сойдя во двор, инженер направился сразу к воротам, чтобы укрепить их заново.

– А кто же теперь командует? – любопытствовал Исмаил-хан (имея, очевидно, себя на примете).

– Пока что я, – снебрежничал Клюгенау. – Вы, любезный хан, слишком старательно разворотили мои баррикады. И позвольте мне заняться их вторичным созиданием...

Хан Нахичеванский слез с лошади, надолго приник ухом к пыльной земле, потом с явным недоумением сказал:

– Воля аллаха! *Они* побежали, и скоро в нашей семье будет два генерала...

Баязет был окружен сверкающим поясом, – крепость медленно наполнялась пороховыми газами, которые не успевали выдувать сквозняки. Лавина турок уже тронулась в паническом бегстве, и капитан Сивицкий в госпитале невольно задержал корнцанг в руке.

– Я не могу оперировать, – сказал он. – Пылища, дым, шум... Пусть турки отбегут подальше. Все трясется...

Карабанов участия в стрельбе не принимал – он вышел на фас цитадели и, присев на краю крыши, остолбенело наблюдал за избиением врага. Коричневые камни постепенно делались красными от крови, по брустверам кровь ползла, сворачиваясь в пыли тяжелыми густыми струями...

– Здравствуй, лодырь, – подошел к нему веселый Ватнин. – А ты чего не стреляешь? Набивай руку, пригодится.

– Без меня хватает, – огрызнулся поручик.

Стрельба медленно утихала – турки, которые повезучее и полегче на ногу, успели убежать далеко. Ватнин присел на раскаленную крышу рядом с Карабановым.

– Про тебя, Елисеич, тут разное толкуют, – сказал он. – Говорят, что ты сегодня как бы... тово! Пиф-паф хотел себе сделать. – И есаул, приставив палец к виску, выразительно щелкнул языком. – Не знаю, правда сие или врут люди?

– Может, и правда! – согласился Карабанов.

Ватнин помолчал и вдруг зашептал ему на ухо:

– Слышь-ка, что я скажу тебе... Пацевича-то нашего помогли убрать от греха.

– Как это? – не понял Карабанов.

– Да так. Я-то здесь был, никуда не отлучался, так все видел... Первая пуля его в плечо ударила. А вторая-то уже в спину жалила. *Изнутри крепости*, стало быть... Вот я и смекаю – не ты ли это, Елисеич?

Карабанов, дернувшись, встал:

– Иди ты к черту, есаул! Наверное, сам его шлепнул, а теперь «комедь ломаешь»...

Ватнин смутился.

– Оно, конечно, – сказал он. – Вы все благородные. Рази же от вас правду узнаешь?..

Карабанов ушел. В крепости, еще недавно погруженной в мрачное отчаяние, теперь царило какое-то бурное веселье.

С высоты фасов дружно выли казаки:

Ты, Расея, ты, Расея,  
Мать расейская земля,  
У меня, да у казака,  
Курчавые волоса...

Из казематов неслась строевая:

Мундир черный надевать,  
На ученье выезжать,  
Нам ученье не мученье,  
Между прочим – тяжело...

Тем временем, пока гарнизон распевал песни, а офицеры приняли на себя очередные заботы по обороне, Исмаил-хан Нахичеванский тихонько пробрался в кабинет Пацевича и прочно засел на продырявленном стуле начальника гарнизона. Это узурпаторское решение поселилось в голове Исмаил-хана как-то сразу – почти одним судорожным сокращением его скудных мозговых извилин. Просто хан, после разговора с Ключену, прикинул на весах «Табели о рангах» свое звание подполковника, и оно, тяжело брякнув, перетянуло все остальные, бывшие в гарнизоне, что и решило дальнейшее поведение Исмаил-хана.

Отыскав полковые печати, подполковник спрятал их у себя. Начальника определяло его первое распоряжение, и за этим дело у хана тоже не стало, – первое распоряжение тут же состоялось: было велено поймать и повесить Хаджи-Джамал-бека, которого подполковник имел основание опасаться, но лазутчика в крепости уже не оказалось. Далее, взломав печати на денежном ящике, Исмаил-хан денег в нем, к великому своему прискорбию, не обнаружил, но зато выгреб оттуда на стол около полусотни новеньких георгиевских крестов для солдат. Пацевич, по всему виду, был не охотником до поощрений и держал эти кресты у себя втуне...

Взволнованный, юнкер Евдокимов прибежал к Штоквицу, у которого собрались офицеры, и сообщил еще с порога:

– Господа, вы посмотрите, что делает Исмаил-хан!

– А что?

– Он раздает кресты. Полюбуйтесь, господа, – юноша показал зажатый в кулаке крестик, – я тоже получил.

Карабанов нервно рассмеялся. За ним громыхнул Ватнин, и только один Штоквиц остался серьезен.

– Прощайте, священные минуты Баязета, – торжественно изрек барон Ключену. – Сегодня последний день твоей бескорыстной защиты!

Штоквиц двинул кулаком по столу:

– Что за черт! Какие кресты? И почему именно Исмаил-хан раздает их по гарнизону?

Юнкер аккуратно положил свою награду на стол перед комендантом.

– Ну как же вы не понимаете, – ответил он. – Нахичеванский хан дорвался до власти, и теперь...

– Что-о? – разинул рот Штоквиц. – До какой это власти?

Евдокимов пожал плечами:

– Но вы же не станете отрицать, господин комендант, что по своему званию Исмаил-хан следует за выбывшим из строя полковником Пацевичем.

Штоквиц скрипнул зубами от ненависти:

– Ах, вот оно что! Основания законные... От одного только что избавились, а тут второй... Что вы хохочете, Ключенану?

Прапорщик не скрывал своего смеха:

– Не обязан же я плакать, господин комендант, если нахожусь в балагане. Правда, за вход в этот балаган некоторые расплачиваются своей кровью. Однако смешное всегда остается смешным...

Ватнин брякнул об пол шашкой, ладонью снизу вверх взъерошил бороду.

– Охо-хо! – вздохнул он. – Противу звания не попрешь: он, как мы ни крутись, а все же подполковник...

И капитан Штоквиц, как следует подумав, сказал:

– Господа, мы здесь люди все свои, я буду говорить откровенно! Надо что-то изобрести такое, чтобы освободить гарнизон от полководческого гения Исмаил-хана.

– Но печати-то уже в его руках, – хмыкнул Карабанов.

– Печать – не честь. Ее можно дать хану подержать, а потом отобрать, – ответил Штоквиц, и тут ему доложили, что Сивицкий закончил оперировать Пацевича...

Сивицкий велел Китаевскому снять с оперированных очагов турникеты и проследить, когда у полковника начнется рвота. Глядя на бледное лицо Пацевича с прилипшими ко лбу прядями волос, капитан задумчиво вытирал окровавленные руки сухим полотенцем – воды не было. Обтерев потом ладони спиртом, он вдруг сказал:

– Странно!

Китаевский разжимал винты полевых турникетов, освобождая кровообращение:

– Простите, капитан, о чем вы сказали?

Сивицкий, отбросив полотенце, шагнул к столу, на котором лежал истомленный и неподвижный под влиянием хлороформа Пацевич.

– Раздробление ключицы «жеребьем» кустарного изготовления, – сказал врач, – это мне понятно. Но второе ранение выглядит странно. У вас, Василий Леонтьевич, нет такого подозрения, что полковник получил пулю изнутри?..

– Изнутри... Простите, не понимаю вас.

– Выстрел был произведен из крепости, – заключил Сивицкий. – Где та пуля, которую вы извлекли?

– Посмотрите в тазу, если угодно...

Сивицкий прошел в резекционную, нагнулся над тазом. Среди окровавленных комков ваты, ржавых кусков дробленого железа и расплюснутых пуль, извлеченных из костей, вдруг сверкнуло что-то отточенной гранью.

– Так и есть, – сказал Сивицкий. – Мельхиоровая пуля. И калибр тот же. Ая-яй, барон!

Пацевич медленно приходил в себя.

– Накаркали, – сделал он первый выговор. – Очень уж вам всем хотелось, чтобы я попал в госпиталь. Вот теперь и возитесь... Скажите хоть – что со мною?

– Сушая ерунда, – успокоил его Сивицкий. – Ключица будет побаливать, а в остальном...

– Пить, – потребовал Пацевич. – Дайте воды!

Сивицкий переглянулся с Китаевским.

– Две ложки, – велел врач. – Дайте...

.....

Вечером офицеры уговорили Хвоцинскую предать земле тело ее покойного супруга. Никиту Семеновича в гроб не клали, завернув его поплотнее в солдатскую шинель, поверх которой просмоленными нитками пришили знаки отличий. Пока на дне глубокого подземе-

ля выкапывалась в стене могила наподобие склепа, гарнизону было разрешено проститься с любимым начальником.

Аглая стояла в изголовье покойного, рядом с безмолвными офицерами; знамена были склонены до самой земли. Барабаны время от времени ударяли мерную дробь, вызывая у людей тревогу и трепет. В торжественном порядке проходили мимо, еще издали снимая фуражки и часто крестясь, рядовые защитники Баязета. Одни из них целовали полковника в сложенные на груди руки, другие терли кулаками слезу.

Хвоцинский лежал на доске, вытянувшись и раскинув носки стареньких сапог, словно продолжал находиться в походном строю. Кончалась для него трудная жизнь русского воина, отгремели давнишние битвы, уже не болят старые раны, и боевые знамена никогда уже не прошумят над его сединой.

Все-все, что он видел когда-то в слепящих песках Самарканда и Хивы, в горных кручах мрачного Дагестана, под славным Малаховым курганом и под стенами жуткого Геок-Тепе, – теперь он все это уносил с собою, оставляя людям только память о себе. Он отслужил Отечеству честно и прямодушно, и оттого-то, наверное, так покойно и величаво было сейчас его простое солдатское лицо...

Отец Герасим сказал над ним последнее надгробное слово, закончив его цитатой из тринадцатой главы Матфея.

– Нигде, – возвысил голос священник, намекая на недавние события, – нигде нет пророку меньше чести, как в Отечестве своем и в доме своем!..

Снова грянули барабаны. Прозвучал салют из ружей. Аглая тихо вскрикнула, и кто-то сжал ей локоть. Офицеры, обнажив лезвия шашек, взяли на караул. Тело полковника Хвоцинского осторожно задвинули в нишу, заложили могилу кирпичом и замазали глиной. Когда же поднялись наверх, то увидели, что над Баязетом снова разгорается зарево пожаров...

## Кровавый пот

*Какое чудо эта драма, правда?.. На чтениях были Нелюбохтин, Мануков и душка Грессер. Я скромно появилась там в новом платье из белого гроденабля, и мужчины в один голос признали меня самой интересной. Вчера же мы, все светские дамы, посетили офицерский госпиталь и видели там много молодых людей благородных семейств и даже одного князя. Он был так мил, этот душка князь, и все делал мне знаки. Но мой противный муж не дал денег на новое платье с блондами, как я ни рыдала перед ним, и потому, та chere Аглая, я не могла быть в этот раз такой интересной...*

*Из письма к Аглае Хвоцинской, которое поджидало ее с почтой в Игдыре*

### 1

Тишина в этом доме была удивительной. Некрасову она казалась порой чем-то вроде съедобного теста. Пышно всходя на сытых дрожжах, эта тишина словно расплзлась по комнатам, тягуче и плавно переваливая через дверные пороги. И только изредка слышал Юрий Тимофеевич легкие шаги в сенцах, велеречивые покойные разговоры молокан, чистые чмокания поцелуев мужиков и баб, их ласкательные слова:

– Сестрица Пелагеюшка, огурчика солененького не хошь ли, миленькая?

– Добренький братик мой, – доносилось в ответ, – спасибочко за твое привечание, не желается мне твоево огурчика опосля ватрушечки сладенькой...

В «боковицу» к Некрасову часто заходили мужики в белых до колен рубахах. Ни о чем не спрашивали, ничего сами не рассказывали. И смотрели даже как будто мимо него – куда-то в сторону. Теребя пышные бороды и целуя затянутые пергаментом яркоцветные скрижали, говорили перед уходом:

– Грех, грех-то какой... Хосподи!

Кормили, однако, словно на убой. Старица Епифания еще несколько раз приходила к нему, втирала в раны какие-то мази, велела как можно больше пить меду, и штабс-капитан чувствовал быстрое возвращение сил. Но пустота безделья уже начинала тяготить его, а потому Некрасов, в один из приходов к нему Аннушки, задержал ее у себя.

– Небось, – сказал он, – у вас грамотеев-то немало на хуторе. Мне бы книжку какую-нибудь. Поищи, голубушка, а?

– А мы книжек не держим, – ответила девица, чего-то робея. – Тятенька говорит, что буква дух мертвит. Во многоглаголании спасенья не будет!..

Было странно и дико слышать все это от красивой и здоровой девки, но убеждать ее в обратном казалось Некрасову ни к чему, и штабс-капитан спросил о другом:

– Ну, а в городе-то что? Как там наши? Сегодня ночью я плохо спал – все больше выстрелы слушал... Держатся еще?

– Да грешат все, – ответила Аннушка смиренно. – Царь-то ваш душегуб, он лукавого кровью тешит.

Некрасов обозлился.

– Дуришь! – сказал он. – Это вы царя издалека поругиваете, а подати-то султану турецкому исправно платите. Вот где грех-то!

Аннушка как-то скусилась, глаза ее, прикрытые пушистыми ресницами, загрузили по-разумному ясно.

– Мне ведь тоже не сладко, – призналась она. – Эвон тятенька-то сколько сундуков мне приданным натискал. А только мне и надеть ничего не дают... Был парень один на хуторе да в Эрзеруме пропал, и все тут!

– В твои-то годы... – размечтался Юрий Тимофеевич. – Эх, глупая ты, ничего-то не знаешь. Плюнула бы на все, да и пошла бы домой – на Русь пошла бы... Хорошо там!

Аннушка удалилась опечаленная, и Некрасов вскоре услышал чье-то бесшабашное пение. Выглянул в оконце – увидел турецкого редифа, несшего на плечах винтовку, словно коромысло, у себя на загривке. Возле изгороди, за которой раскинулся густой сад молокан, редиф остановился и со смехом обрушил изгородь.

Савельич вышел к нему, взывая к совести:

– Скажи только – мы тебе хоть воз яблок насыплем.

Турок ответил, что ему нужно только одно яблоко. Только одно! Нет, помогать ему не надо – он сам выберет себе яблоко по вкусу. И началось варварство в саду, от которого Некрасову не терпелось встать и набить турку морду.

Савельич чуть не плакал:

– Хосподи, да пожалей ты хоть едино деревце...

Солдат остервенело ломал плодовые ветви, трещали молодые побеги, он залезал на вершины, резал деревья ножом, губил их в каком-то непонятном упоении. Наконец выбрал яблоко по вкусу, с хрустом расколот его крепкими зубами и ушел, оставив после себя искалеченный сад и поваленную изгородь.

– Вот так и всегда, – сказал Некрасову огорченный Савельич. – Придут водицы испить – весь колодец заплуют нам, луковицу захотят – весь огород вытопчут... А все через вас мы терпим, – добавил мужик со злостью. – Вы, присяжные люди, походы сюды вот делаете, одна смута от вас идет...

Некрасов посмотрел на мужика, и вдруг тошен показался ему этот старик, созидатель тысячелетнего Араратского царства.

– Виноватым быть не желаю. Если считаешь, что враги мы твои, так и оставаться в доме твоём не буду... А за хлеб-соль спасибо!

Савельич нахмурился.

– Не обижай нас, – сказал он. – Ты уже благодати приобщался. Дух животворит тебя. Не осуди, что просим откусать молока нашего...

Некрасов давно уже заметил в сенцах чугунный станок кустарного пресса. Подсунул он под давило кусочек кожи, дернул на себя рычаг – на коже четко вытиснился рельеф одной из сторон российского червонца.

– Вот, – сказал офицер, даже не удивляясь, – вот благодать ваша в чем... Шлепай, шлепай! За это тебя султан турецкий на Камчатку не вышлет.

Савельич бестрепетно посмотрел на Некрасова:

– Тайно содеянное – тайно и осудится. Этого-то добра у меня полные засеки в амбаре. Хочешь, и тебе мешка три сразу всяких монет отсыплю?

– Нет, мне не надо, – отозвался штабс-капитан. – Я с запасом жить не умею...

.....

В этот день на хутор приехал баязетский мюльтезим, облагавший подданных султана взносами податей, и велел молоканам сдать к вечеру по три быка с каждого дома, отвезти в город десять возов муки, оставив себе по одной овце и по одной курице, – все остальное должно попасть в котел редифов.

Некрасов с удивлением заметил, как покорно согласились на все молокане. Только когда мюльтезим уехал с хутора, они стали плакать и целоваться от горя. Тихо выли по углам бабы, старики выводили из хлева дымчатых быков, ссыпали зерно на подводы, давили птицу.

Но тут до хутора докатился рев голосов и трескучая пальба перестрелки. Юрий Тимофеевич вышел на крыльцо, откуда была видна крепость, и с ужасом увидел, что турки пошли на штурм. Здесь же молокане и нашли его лежащим в беспамятстве. Штабс-капитан потерял сознание, когда увидел выкинутые над Баязетом белые флаги.

Его снесли в «боковицу», и у него начался тяжелый бред.

– Николая Сергеича мне... зовите! – выкрикнул он.

– Свято дело, – перепугались молокане. – Благодать в нем заговорила. О блаженном вспомнил...

Привели к нему старого деда, которого по странной случайности звали Николаем сыном Сергеевым. Старец вошел в «боковицу», прижал розовую ладошку к заросшему белым пухом виску.

– Позвал ты меня? – спросил он.

Юрий Тимофеевич мутно глянул на старца:

– Это вы, Потресов?.. Скорее, скорее! Взрывайте пороховые погреба! Они уже лезут на стены...

Молокане тут заплевались, затолкались в дверях и ушли, оставив его одного. Однако вскоре до хутора дошла весть о тяжком разгроме турок под стенами Баязета, и раскольники уже не повезли в город зерно и живность; они словно чуяли, что туркам теперь не до них.

Некрасов пришел в себя, благостно сияющий Савельич встретил его словами:

– А я с поздравкой к тебе. Лихие дела творят земляки. И не хочешь, да сердце радуется... От паши-то отбились твои присягатели, тепереча песни горланят. Слышь-ка? Нет того, чтобы возблагодарить кого духовным согласием, – куды там, про баб да про убивство горло дерут!

## 2

Г-жа Хвощинская рассказывала нам, как страшно было смотреть на костер, куда курды бросали женщин и детей всякого возраста, которые просили помощи, крича в сторону крепости: «Аман, урус!..»

*А. Хан-Агов, 1877 г.*

Песни в этот день уже не звучали. Жажда снова напомнила о себе, и стало не до веселья. Тела людей, казалось, высохли под жарким солнцем, которое выпило из них всю влагу. К мучениям тела прибавилось еще и страшное изнеможение – день штурма не обошелся даром.

Люди притихли. На ночь они расползлись по углам, ища спасительной прохлады. Непоемые лошади жалобно ржали у коновязей, стучали копытами в стены. Через узкие софиты, люющие догорающий свет внутрь лазарета, разносились по цитадели мучительные вскрики раненых. Убитым было сейчас легко – они лежали, спокойные и тихие, ничто уже не терзало их. Но плакали где-то дети, и этот плач становился невыносимым...

– Уберите детей! – выкрикнул Пацевич, сбрасывая с себя покрывало. – Кто пустил в крепость детей?

Китаевский прощупал слабое биение пульса на влажном его запястье.

– Успокойтесь, полковник. Детей здесь нет. Вам это кажется...

Пацевич вяло перекинул голову по мокрой от пота подушке, на которой стояло жирное клеймо одиннадцатого походного госпиталя.

– Ы-ых... ы-ы-ых, – тягостно простонал он, – зачем вы обманываете меня, статский советник? Я же слышу детей... Идите к ним, чтобы они ничего не разбили... Нынешние дети так дурно воспитаны!

– Что с ним? – спросил Сивицкий, подходя к ординатору.

– Кажется, он впадает в коматозное состояние. В его положении это опасно.

Сивицкий склонился над раненым, пальцами требовательно встряхнул его за толстый подбородок.

– Господин полковник! – резко приказал врач. – Смотрите сюда... прямо смотрите... Где вы находитесь сейчас?

Пацевич медленно раскрыл глаза, затянутые матовой пленкой, словно у засыпающей курицы.

– Не будем спорить, – ответил он четко, – я же ведь знаю точно: знаки владимирского ордена носятся на красной ленте с черной каймой...

– Готов уже! – сказал Сивицкий и выпустил из пальцев скользкий подбородок.

Трепетное пламя свечей и просто тряпок, намоченных керосином, освещало мрачную обстановку баязетского лазарета. Раненые лежали на полу плотно один к другому. Отовсюду неслись крикательства, подвывания, жалобы, просьбы и придушенные стоны. Клюгенау, появившись в дверях, долго озирает эту тягостную картину.

– Вы ко мне, барон? – спросил его Сивицкий.

– Да. Не нужна ли вам сейчас моя помощь?

Из-под выпуклых очков на врача глядели спокойные, чистые глаза прапорщика. Молчание между ними затянулось.

– Благодарю вас, барон, – ответил капитан. – Все, что вы могли, вы уже сделали.

Клюгенау выложил из кармана револьвер.

– Возвращаю, – сказал он. – Оружие действительно хорошее. Мне, правда, пришлось им воспользоваться лишь единожды. И то случайно.

– Оставьте его себе, – разрешил Сивицкий. – Оставьте на память. Я менее вашего счастлив на подобные случайности...

Клюгенау был вполне спокоен и, внимательно поглядев на полумертвого полковника Пацевича, спрятал револьвер в карман.

– Я не откажусь от такого подарка, – сказал он.

На темном дворе его охватила липкая духота. В полном мраке неожиданно стены цитадели начали светиться бледными отсветами далеких пожаров. Клюгенау поднялся на передний фас, где уже собрались почти все офицеры гарнизона. Отсюда было хорошо видно, как по окраинам города полыхают пожары. Но вскоре были подожены и ближайшие кварталы – над Баязетом вскинулись огненные языки огня.

– Что скажете, барон? – спросил его Штоквиц. – Это напоминает мне четвертое действие оперы «Гугеноты»... Мстят, – добавил он. – Мстят, сволочи!

– Вымещают, – поправил его Потресов. – Бедная та страна, в которой нет законов, а есть только адаты.

Исмаил-хан Нахичеванский в эту ночь спать не ложился. Штоквиц увидел свет в окне его жилья и вошел не стучась. Подполковник ногою придвинул коменданту стул.

– Разрешаю, – сказал он.

Штоквиц сел, отставив ногу, скрестил на груди руки.

– Дуракам закон не писан, – произнес он.

– Это верно, – согласился хан, выжидая.

– Вступление в должность... – начал было капитан.

– Уже вступил, – заторопился Исмаил-хан.

– Зависит не от формальностей, – закончил Штоквиц.

– И я так думаю, – одобрил подполковник.

– А потому будет лучше...

– Я теперь спокоен, – кивнул ему хан.

– Для спокойствия гарнизона...

– Никого не будить, – догадался хан.

Штоквиц обалдело посмотрел на хана.

– Да, – сказал он. – Вы совершенно правы... Впрочем, я понимаю, что разговаривать с вами бесполезно. К сожалению, здесь не клиника, а я – увы! – не профессор Балинский<sup>6</sup>.

Пожелав хану спокойной ночи, комендант ушел в дрянном настроении. «Связать его, что ли? – раздумывал он, шагая по длинным коридорам крепости. – Или просто не обращать на него внимания и делать все по-своему? Далеко не мудрец, а догадался печати захватить...»

Ему встретился санитар.

– Господин капитан, его высокоблагородие опамятовались. Просят, если вы не спите, навестить его.

Штоквиц повернул к госпиталю. Пацевич встретил его слабой виноватой улыбкой, похожей на болезненную гримасу.

– Вот меня... как, – тихо сказал он. – Я хотел вас видеть, чтобы спросить... что в гарнизоне?

Штоквиц присел на край койки, повертел в тугом воротнике вспотевшую шею.

– Все благополучно, Адам Платонович.

– Вы там... смотрите, – подсказал Пацевич. – Это очень ответственно... Особенно сейчас!

– Не беспокойтесь, – ответил комендант. – У нашего Исмаил-хана орлиный взор. И он далеко видит!

– А разве... он разве?

– Да.

Пацевич отвернулся к стене.

– Гоните его в шею, – сказал он. – С хана хватит и милиции. А вам... Мне уже не встать. Берите на себя...

– Благодарю за доверие, – как следует поразмыслил Штоквиц. – Но я остаюсь комендантом. Только комендантом, и не больше. Я не умею расхлебывать чужое дерьмо.

Пацевич ничего не ответил и закрыл глаза.

Штоквиц прошел к себе, рассовал по карманам сюртука три плотных кожаных кисета. Потом отправился в каземат, где расположились беженцы и остатки милиции. Ни слова не говоря, комендант развязал один из кисетов, и на стол с тяжелым звоном потекло золото червонцев.

– Вот, – сказал он, сгребая золото в кучку, – надо выбраться из Баязета и связаться с генералом Тер-Гукасовым, чтобы рассказать ему обо всем... Кто решится пойти?

Люди молчали, и Штоквиц, ругнувшись, раскрыл второй кисет. Теперь перед ним лежала целая горка золота.

– Еще раз спрашиваю – кто беден и смел?

Из темноты выступил молодой горец с жестким горбоносим лицом, сведя ладони на длинном кинжале.

– Я сын Петросяна – Самсон Петросов. Турки убили мою мать и сожгли мой дом. У меня осталась теперь только жена и вот этот кинжал. Позволь, русский начальник, и я пойду к Сурп-Оганесу, даже не беря этот бакшиш!

Штоквиц ссыпал золото обратно в кисеты, протянул их армянину.

– Бери, – сказал комендант. – После войны оно пригодится тебе. Купишь новых волов и построишь новый дом. Только сейчас оставь деньги жене... Спустишься с крепости по веревке, чтобы тебя никто не заметил. Оденешься курдом. Я дам тебе записку к Арзасу Артемьевичу. И мы будем молить за тебя бога!..

.....

---

<sup>6</sup> И. М. Балинский – известный психиатр.

«На голову мне, – рассказывал Самсон Петросов, – надели колоз из войлока, обмотали голову тряпками, нарядили курдом. Выждав тишины, когда прекратилась перестрелка, меня спустили со стены вышиной в сажень. Я упал на трупы, которые валялись тут во множестве.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.